Николай Полотнянко

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Ах, как я сейчас понимаю, что всё моё писательское прошлое есть каждодневное делание литературных корабликов самой разной формы и величины. Доводилось мне отправлять в плаванье стройные, как парусные корветы, лирические новеллы, тяжёлые, как дредноуты, исторические романы. Провожал я в путь романы — теплоходы о современности, однако милее мне, старому корабелу, строить из миражей воображения, из осязаемой пустоты предчувствия бумажные кораблики негромкой лирики. И, прожив жизнь, я понял, что и сам был не человеком, а бумажным корабликом, что все люди суть бумажные кораблики, и каждого в своё время Бог отправил в земное плаванье с какой-то целью. Разгадать её не берусь, могу только предположить, что бумажные кораблики от Господа — единственное спасение тонущему в грехах человечеству…» Часть тиража, так же, как и часть предыдущих книг, изданных автором, безвозмездно передана в библиотеки г. Ульяновска.

- Николай Полотнянко
  -
  - Я вырос сыном ветра и воды…
  - В ДЕТСТВЕ, В МОЕМ НАЧАЛЕ
    -
    -
    - Из самых ранних воспоминаний
    - Жизнь таёжная. Лето 1951 года
    -
    - Жизнь Копайская. Кончина Сталина…
    - Жизнь Копайская, продолжение
    - На Кирпичиках, политические
    - На Кирпичиках, продолжение
    - Все мы — бумажные кораблики
  - ВСЁ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО…
    - Паутина
    - Случай в поезде
    - Мелочи жизни
    - Мой Литинститут
    - Защита диплома
    - Первая книжка
    - Квартирный вопрос. Вл. Соколов, Гр. Коновалов, «Бабай»
    - На родине Павла Васильева

- Дырка в газете
- Литературный могиканин
- Писательские рокировки
- День несчастий
- Мои заклятые друзья
- Живут же люди
- Г рачи прилетели
- Чревовещатель
- «Паровоз» на Венце
- Буфетчица из РПУ
- «Червонец» за честность
- Брежнев — мой приятель
- Памятное слово о русском поэте Николае Благове
- Бульвар Пластова
- Пименовский подкидыш
- «Генка-людоед»
- Кино с обратной стороны
- Печальные судьбы. Анатолий Бармин
- Печальные судьбы. Андрей Пчёлкин
- «Большая Волга — 74»
- Скульптор Василий Шеломов
- Переезд в Ульяновск
- Поэт, воин, учитель Николай Рябинин (Сидоров)
- «Солдаты Отчизны»
- Как я боролся с пьянством
- Редакционные тени
- Укрощение оськинского иерея
- Наши знаменитые гости
- Три случая из литинститутской жизни
- Нам нужны сатирики — Щедрины и Гоголи
- В гостях у Г еннадия Лёвина
- Заяц Дюрера
- Комиссар от митинга
- Раки
- Конфискация бороды
- Карандаш
- Друг лауреата
- Сейф
- Бутылка «сухого»
- Наш ульяновский Бунин
- Два мешка муки от генерала
- Овраг

○ МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗИКИ И ЗАРИСОВКИ

- Заволжское чудовище
- Кот Михаил
- Коза-дереза
- Петушок с ноготок
- На овсах
- Симбирский старожил
- Куросава
- Встреча с хозяином
- Рыжая племянница Суслова

○ Вместо эпилога

Николай Полотнянко
БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

Книга воспоминаний

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

Я вырос сыном ветра и воды…

Я вырос сыном ветра и воды.
И с облаками говорил часами,
Когда цвели весенние сады
И птичьими звенели голосами.

Я знаю сердцем, где моя душа
В себя впитала высь и даль простора:
На старице седого Иртыша,
С берегового дивного угора.

Оттуда видел я такой простор,
Что не забыть мне той поры счастливой:
И коренной Иртыш, и в Заиртышье бор,
И десять вёрст весеннего разлива.

Вокруг была вода, вода, вода…
Стихия, вдаль стремящаяся слепо.
Она вошла мне в душу навсегда
Огромностью, похожею на небо.

В ДЕТСТВЕ, В МОЕМ НАЧАЛЕ

(Повесть)

Внучке Агате

Из самых ранних воспоминаний

Жизнь всякого человека, если упростить её до предела, есть ни что иное как временной поток, имеющий своё начало, который мы называем детством. От него в памяти старого человека остаются немногие отрывочные воспоминания, которые можно без ущерба повествования опустить. Но, чтобы не начинать повесть с загадочного умолчания о самых первых годах моей жизни, скажу, что зачат я был, скорее всего, в гостевой палатке батальона Трудовой армии на Кузбассе, куда мама с котомкой еды приехала к оголодавшему мужу на свидание.

По моим предположениям это был август 1942 года, немцы рвались к Волге, и Сталинград был в огне. Отец ждал отправки на фронт, куда его, близорукого «белобилетника», взяли из Трудовой армии во вторую очередь. Мама только что похоронила годовалого Виктора, моего братика, который умер от простуды. Она, как мне кажется, и поехала к отцу, чтобы родился я, и боль её, и радость. Казалось бы, война, бескормица, зачем маме, почти наверняка будущей вдове, заводить ребёнка.

Но тогда, как я понимаю, женщины рожали, инстинктивно чувствуя необходимость продолжения рода. И всё равно мало моих годков, рождённых в 1943 и 1944 годах.

Мама познакомилась с моим отцом Алексеем Карповичем в Усть-Шише Омской области, куда он был направлен на лесозаготовки. Там они и поженились, и вскоре отец увёз маму к себе на Алтай. Отца взяли на фронт, он был два раза ранен, награждён орденами. После демобилизации семейная жизнь у него не заладилась. Отец был, судя по всему, ещё тот котяра, а безмужних баб, красноармеек, имелось в те годы, хоть пруд пруди. В какой-то момент мама забрала меня и уехала в Прокопьевск, устроилась на шахту кассиром. Отец уехал в Новосибирск, где сошёлся с какой-то женщиной. Вот такая получилась обыкновенная семейная история, в результате которой я при живом отце стал безотцовщиной, поэтому говорить об этом больше не буду.

Шахта «Восточная», где работала мама, в конце сороковых годов находилась на окраине Прокопьевска. Она работает до сих пор, и там живёт тётя Валя со своим Володей. Тогда, я это хорошо помню, там был терриkон, заводоуправление, столовая, школа, а выше по склону горы были рассыпаны избушки шахтёров и бараки. В шахте добывали коксующийся уголь, были даже мокрые забои, то есть такие, где забойщики работали в воде. Помнится, угля для топки печей не выписывали даже для шахтёров, и мы,

ребятня — мал мала меньше — собирали его на отвалах породы.

Шесть лет мне.
Рабочий посёлок.
Дымит террикона гора.
Мир болью ещё не расколот
На стороны зла и добра.

Шатаются стены барака
От вьюжного всплеска зимы.
По склону крутого оврага
На санках катаемся мы.

А мимо от мрачных сараев
Шагает угрюмый конвой.
На шахту ведут полицаев,
С собаками, в мокрый забой.

Стучат по каменьям подмётки.
И каждый от инея сед.
Солдатские вдовы, молодки,
Глядят непрощающе вслед.

Колонна проходит ограды.
Клеть падает в мокрую тьму.
А мы, безотцовщина, рады
И сами не знаем, чему.

На шахте, шестилетним, мама отправила меня в школу. Но учиться мне пришлось месяца два, не больше: меня украл отец и увёз в Новосибирск, где я прожил месяца два, пока мама меня не нашла. На шахту к тому времени приехали жить тёти — Шура и Валя. Тогда ещё не было закона о запрещении женщинам работать на подземных работах, и они каждый день спускались в шахту.

В день получки мама брала меня с собой на работу, потому что выдача денег обычно заканчивалась глубокой ночью. В 1956 году Хрущёв срезал шахтёрам зарплату, а до этого проходчики и забойщики получали до десяти тысяч рублей (тысячу рублей до 1992 года). И мне с детства врезался в память кисловато-терпкий запах новых банкнот. Мама выдавала деньги, а я складывал из пачек пирамиды и домики. Бывало, и засыпал на мешках с деньгами. Что ж, у каждого в детстве были свои игрушки. Всё это припомнилось мне в 1978 году, когда я узнал, что назначен, в

случае войны, в боевое сопровождение по эвакуации денег из Ульяновского госбанка в Казань. Мне это показалось забавным: нищему поэту доверяли громадные ценности, но, возможно, подумал я, кому-то стало известно, что к большим деньгам я равнодушен, ибо повидал их в детстве.

О своих первых годах мне известно со слов матери очень немногое. Так, однажды она пришла с работы и обнаружила, что я, как заправский мужик, развёл мыло в мыльнице, намылил лицо и примеривался возле зеркала к бритью с распахнутой опасной бритвой в руке.

С благодарностью она вспоминала отцовскую сестру, которая работала кондуктором на ташкентском поезде и привозила для моего кормления канадский яичный порошок. Рассказывала о моём появлении на свет. Мама меня переносила, я родился практически мёртвым, и меня откачали профессора, которые работали в военном госпитале на глухоманной железнодорожной станции Тальменка. Так у меня в метриках и записано место рождения — «ст. Тальменка». Впоследствии работники паспортного стола вписывали мне «село», «станица», но никак не станция.

В детстве, с тех пор как я себя помню, я был очень мечтательным и простодушным. Мою душу населяли самые диковинные образы и тени. Последние, как мне иногда кажется, можно воспринимать как отпечатки моей предыдущей жизни. Даже сейчас, когда мне уже за семьдесят, во мне вдруг откуда-то нечаянно возникает воспоминание. Я начинаю рыться в памяти и не нахожу этого, не было со мной такого случая, однако пришедшее воспоминание так живо и ясно, что не поверить ему я не могу. Может быть, это происходит потому, что у меня две верхушки, значит, я состою из двух человек. Можно было развивать эту тему, но только вот куда она заведёт?.. Однако отметить это надо, так, на всякий случай.

В первом классе я получил первую «двойку» где-то близко к Новому году. Огорчился до глубины души, рыдал взахлёб в подол платья тёти Натальи, которую я всю жизнь называл Мамка Старая. Она была совершенно неграмотной, работала всегда с лесом: и на лесоповале, и на погрузке, и на разделке.

— Не плачь, Коленька, мы её сейчас сотрём, мамка и не увидит!

Сказано — сделано: мамка старая оторвала кусочек газеты, потёрла им об стенку нашей землянки, побеленной известью. Затем начала счищать «двойку» с тетрадного листа. В результате получилась на месте отметки довольно крупная дырка с грязными краями. Разочарование наше было беспредельным.

Вскоре с работы пришла мама и первым делом стала просматривать тетрадку. Дырку она обнаружила сразу и, не зная, кто её сделал, кинулась с ремешком на меня. Мамка Старая прикрыла меня своим грузным телом и получила несколько хлёстких ударов.

— Всё, пойду, замёрзну! — в сердцах выкрикнула Мамка Старая, надела овчинную шубу-борчатку, суконную шаль до пола и выбежала на улицу. Замерзнуть в шубе было мудрено, и, соскучившись среди сугробов, она вернулась в тёплую землянку. Чем эта история кончилась для меня в школе, я не помню…

Жизнь таёжная. Лето 1951 года

Поначалу не пожилось маме в Копае (Любинский молочно-консервный завод, Омской области). Она загоношилась, засобиралась, и после того, как я закончил первый класс, мы уехали в деревню Усть-Шиш, Знаменского района, где жила бабушка Екатерина Фёдоровна с сыном Иваном. Конечно, она поторопилась переезжать, и вскоре это поняла, но её тянуло домой, где она не была более десяти лет, надежда на лучшую жизнь, которой в этом захолустном таёжном углу быть не могло. Ехали мы от Омска пароходом на север трое с лишним суток. Долго стояли на остановках, и я видел, как матросы грузили на пароход с берега уголь, используя наспинные приспособления, которые, по-моему, назывались «кобылами».

Пароход весело шлёпал плицами, мы ехали без места, так называемым четвёртым классом, и спали рядом с машинным отделением, где было шумно, крутился какой-то громадный маховик, выкрашенный чёрной и красной краской. Через нас ступали проходящие на палубу люди, но мне эта поездка показалась незабываемо интересной.

В начале пятидесятых годов по радио часто выступал американский певец негр Поль Робсон. Он был коммунистом, и его пропагандировали по всем городам и весям СССР. И вот на пароходе, бог весть, откуда, пассажиром оказался негр. Одет он был в белый костюм, и его чёрная физиономия поразила меня и моих попутчиков до изумления.

— Поль Робсон! Поль Робсон! — гомонили вокруг наши сибиряки.

Пофланировав на палубе для пассажиров первого класса, негр скрылся в каюте, и больше я его не видел. Но мне и сейчас любопытно, что привело этого негра в нашу глухомань? Ведь ехал он на север, в сторону тундры.

Иртыш был не тот, что сейчас! Широкий, быстрый, поднимающий глинисто-песчаную муть со дна, берега обрывистые, крутые, сначала пустынные степные, но вскоре уже покрытые лесом, всё это ещё отдавало первобытным простором. Кричали чайки, бугрились водовороты, вода шла быстрой и плотной массой, ослепляя меня и кружа голову. За Тарой небо стало ниже, облака провисали почти до земли — начиналась уже настоящая тайга.

На берег мы спустились по шатким сходням, брошенным на песок. Нас, конечно, никто не встречал, тогда как-то не принято было предупреждать о приезде телеграммой. В бабушкином доме

все спали, наконец, отворили ворота, начались слёзы встречания, а меня, уже совсем квелого от усталости, затолкнули спать на полати.

Утром я познакомился со своей роднёй. Бабушка Екатерина Фёдоровна Рязанова было очень спокойной, ни разу я не видел её в гневе. Всю свою жизнь она знала только одну работу по дому, уход за скотиной и обстирывание ребятни. Дед, Осип Фёдорович, умер ещё в 1936 году, и ей пришлось тянуть на себе всё хозяйство, правда, к этому времени дети уже подросли, и маленькой была только Валентина.

Рязановы — вятские выходцы, но откуда точно — памяти об этом не сохранилось. В Сибири они, судя по всему, обосновались в начале девятнадцатого века. Старики рассказывали, что группа переселенцев двигалась вверх по Иртышу из Тобольска в поисках подходящей для жительства земли. Дошли до устья Шиша, огляделись и решили остаться здесь. Место было рыбное, богатое кедровыми орехами, пушным зверем и никем не тронутое. Сначала сделали для жилья времянки. Расчистили от тайги место под пашню, посеяли репу, лён, пробовали сеять рожь, но она не всегда успевала созреть, завели скотину и огородили большой участок ляги (сырое травяное место) поскотиной (жердевой изгородью) и зажили в тишине и покое. В те времена дичь водилась на Шише в изобилии: лоси, медведи, боровая птица, но особую ценность представляли колонок и, особенно, горностай, чьи белоснежные с чёрными кончиками на хвостах шкурки всегда высоко ценились. В стародавние времена из них делали царские мантии.

Рыбалка была здесь — лучше не бывает. Даже в 1951 году, когда я приехал на Шиш, там изобильно водилась стерлядь, щука, язь, окунь, линь, налим и другая рыба. Дядя Ваня с соседом забросили на Иртыше невод, я стоял на «пятаке», то есть держал конец верёвки на берегу, и выволокли за один раз столько рыбы, что она не вся поместилась в лодку. Себе рыбаки взяли по ведёрку рыбы, остальное роздали соседям, в большинстве, вдовам. Такой был испокон заведён порядок.

Ягод и грибов в урожайные годы было столько, что хоть возами вози. И это не преувеличение. Той же осенью мы пошли в Наташкин бор за брусникой, набрали, сколько можно было унести. На обратном пути забрели в березнячок возле деревни и за каких-то полчаса наломали целую гору груздей. Я сбегал к дяде Ване, он на лесозаводе взял бричку, мы нагрузили её с верхом и поехали домой. Грузди солись в бочонках, как огурцы и капуста. Брусника и клюква хранились в амбарах, где ягодами набивали огромные лари. Летом брали землянику, малину,

чернику, ежевику. Особенно памятна мне голубика. Растёт она в ряму, невысоком кустарнике на сограх, длинных возвышенностях. Брали её в разгар лета, и бабы иногда встречались там с медведями, тоже большими любителями черники и голубики. Не знаю, как медведю, но мне голубика с молоком сразу набила жуткую оскомину, и я стал есть её осторожнее. Сахара не было, поэтому варенья не варили.

В деревне держали коров, бычков, нетелей, овец, свиней, много птицы. За исключением коров, которые приходили сами домой на дойку, вся остальная живность метилась и выгонялась на поскотину, где и питалась тем, что находила под ногами. Метка у Рязановых была «пень и рубишь». Скотине обрезали кончик уха, а чуть ниже делали надрез. И ничего не терялось. По первому морозу скотину сгоняли во двор и решали, кого оставить на зиму, а кого пустить под нож. Налоги брали натурой, бабушка сдавала масло, опаливать свиней не разрешалось, за это полагалась чуть ли ни тюрьма. Но всё равно мяса было вдоволь. Часть его хранили замороженным, а часть вялили, вывешивая на чердаке. Муку завозили один раз в год, в навигацию. За хлебом я занимал очередь в магазине часа в два ночи и получал на семь человек буханку мокрой чернухи. Из-за нехватки муки знаменитых сибирских пельменей я не едал. В Копае было туго с мясом, а на Шише — с мукой. А вот молока, сметаны, творога было вдоволь, только сепаратор был ручной и крутить его муторно. Была и маслобойка из бересты.

Сразу по приезду я обнаружил на чердаке уйму бумажных денег: царских, «керенок», дензнаков омского правительства Колчака. В том, что было много денег периода революции и гражданской войны, нет ничего удивительного: их печатали столько, сколько было подходящей бумаги. А вот царские деньги — рубль к рублю, десятка к десятке — складывались десятилетиями моим прадедом от продажи скота, пушнины, погрузки барж и другой работы. И всё это копилось на чёрный день, а когда он наступил в 1917 году, ассигнации превратились в цветной бумажный мусор, золотые пятёрки и «десятки» съели в голодном 1931 году. Прадед имел тысячи, а снохе Екатерине пожадничал купить зингеровскую швейную машинку, и она обшивала семью вручную. Он имел в семье абсолютную власть. Было у него ещё два брата, имён не помню, знаю только, что один из них упал с кедра и сильно повредил руку. Другого забрили в солдаты, он отмыкал на царёвой службе лет десять или пятнадцать. Тогда призывников метали по жребию. На какую семью он выпадал, та семья и выставляла рекрута. Оставшиеся блюли его пай в хозяйстве и по возвращении солдата отдавали

ему целиком.

Мой дед Осип Фёдорович был призван где-то в конце девятнадцатого века на Дальний Восток. Шёл он до Порт-Артура пешком. Определили его в матросы. После семи лет службы вернулся уже по чугунке. Было это ещё до русскояпонской войны. Когда он уходил служить, то заплёл десятилетней девочке Кате Быковой в косу ленту. Это означало, что он выбрал её в невесты. Так и случилось, поженились они где-то на рубеже двадцатого века.

Как сказано, Рязановы были по происхождению вятские. На это указывает и то, что бытовавшие ещё при мне в семье прибаутки, россказни имели своим героем обычно придурковатого вятского мужика. Рассказывали, например:

«Подошёл Вантё к реке, стал думать, как переправиться. Наконец, надумал. Оседлал бревно, а ноги, чтобы не свалиться, завязал верёвкой. Отплыл и перевернулся головой в воду. А мужики на берегу говорят: «Смотри, Вантё какой — только отплыл, а уже лапти сушит!».

Была ещё побасёнка: сидят старик со старухой и плачут. Прохожий их и спрашивает, что ревёте, старые? «Так как же не плакать, вот видишь, кирпич упал с крыши, а если бы внучек в тот час бежал, его бы зашибло». Рассказывали и про корову, которую тащили на сарай с земляной крышей, где выросла трава, чтобы бурёнка её съела. Много чего рассказывали.

Бабушка знала много сказок. Научилась она им у проезжих мужиков, которые постоянно заезжали ночевать к ним по дороге на ярмарку зимой. Помнила об этом и Мамка Старая: «Зимой проезжие мужики заезжали часто. Попьют чаю и давай сказки рассказывать, Я слушаю, слушаю, пока мать не прогонит на полати»…

Рязановскому дому, когда я жил на Шише, было уже более ста лет.

Состоял он из двух половин: чистой, то есть горницы с крашеными полами и чёрной — кухни, где половину площади занимала русская печь, у стен были лавки, прикреплённые намертво к срубу. Под потолком были навешаны полати. Говорили: «Баба малого дитя кормит на печи. Отымет от сиськи и толкнёт под зад на полати. Крайний с другого конца слазит и переходит спать на лавку». Так и росли — весь день во дворе, ночью на полатях до десятка ребятни — места хватало всем…

Дом стоял на столбах, без фундамента, ни погреба, ни подвала не имели, всё хранилось в амбарах, которые тоже возводились из круглого леса на столбах. До постройки плотин в верховьях Иртыш бурно разливался, затопляя округу. Скотину

угоняли в согру, где повыше, а дома по месяцу и более стояли на столбах в воде. К заплотам (бревновой ограде) были прикреплены цепями боны, которые с подъёмом воды всплывали. По ним ходили к соседям, в сельмаг, на работу. А надо куда подальше — садились в лодку и гребли по улицам.

Вот такая была таёжная Венеция.

К середине июня вода уходила, боны опускались на землю и спасали людей от непролазной грязи, в которой запросто тонули тёлки и свиньи. Место было болотистым, сырым и комариным. Но особенно одолевала мошка. Как-то раз она, видимо, совсем допекла дядю Ваню и его жену Надю. Открыли они настежь окна, принесли в чугунном тазу сухого навозу и подожгли. Плотный дым повис в метре от пола и сочился через окна, а они устроились спать на полу. Я вдохнул разок дымка, раскашлялся, расчихался. Чего, думаю, они прячутся? Нас, ребятню, комары и мошка будто и не трогали, во всяком случае, я от них не страдал.

Дом был покрашен краской (полы, двери, окна), судя по надписи, сделанной в кладовке, в 1851 году. Но бабушка говорила, что он до этого стоял некрашеным лет двадцать. Значит, его постройку можно считать где-то к 1830 году. Когда я приехал, он был сильно осевшим на одну сторону, где стояла печь. При мне дядя Ваня созвал «помочь». Принесли домкрат, подкатили брёвна, и за день подрубили новых три венца. Так, по-моему, он и стоит до сих пор. Последний раз я был там в 1971 году. Боже, каким он маленьким мне показался! Что греха таить дядя Ваня и тетя Надя были с ленцой. Жили среди леса, среди лесосплава и не могли срубить себе избу. Побывал я тогда в гостях у своего дальнего родственника. Этот был мастер. Избу себе срубил окон в восемь, двор застлан половинками брёвен, покрыт тёсом, амбары, помещения для скота и птицы — всё из добротного леса. А сколько сосен, пихты, лиственницы, берёзы, осины было сплавлено по Шишу, сколько ушло вниз и вверх по Иртышу плотами и на баржах! Вот он не поленился, построил дом и зажил в своё удовольствие.

Когда-то, до коллективизации, амбары и скотные дворы занимали всё пространство, где на момент моего приезда находился огород. Земля на нём была навозной, и всё росло как на опаре: и картошка, и другие овощи. Надворных строений было не меньше десятка. До 1933 года мой дед с семьёй — работников в такой глухомани сроду ни у кого и не было — держал до десяти дойных коров, столько же лошадей, штук тридцать-сорок овечек, десяток свиней, не мерянное число гусей, уток и курей. Конечно, в условиях того времени скот ведь фактически летом не кормили, только зимой, что оставляли на племя. Коровы молока давали

мало. Бабушка всё вспоминала, что в приданое от родителей получила корову «ведёрницу», она давала в день ведро молока и стоила до русско-японской войны десять рублей. Деньги по тем временам немалые. От этой коровы и пошло всё стадо.

Лошадьми занимался дед Осип. По рассказам мамы, он был завсегдатаем ярмарок, которые зимой бывали в Знаменском и Таре. Уезжал на лошадях, но, бывало, что возвращался с одной уздечкой. Нет, он не был пьяницей, хмельное употреблял только на великие праздники, а вот менщик был азартный. Вот его и надували иногда ярмарочные хлюсты.

Во всем Усть-Шише к началу тридцатых годов было от силы три десятка домов, магазин и пристань. Зимой иногда зимовали пароходы, и население деревни увеличивалось. В 1939 году привезли ссыльных из западных областей — поляков, и поселили их на левом берегу Шиша. С коллективизацией в Усть-Шише власти проморгали, хватились только в 1933 году. К этому времени мужики уже уразумели, что такое коллективное хозяйство, и успели свести скотину под корень, оставив себе коровёнку да пару ярочек и пару поросят.

Однако колхоз организовали, но он просуществовал где-то с полгода. Да и как ему было существовать, когда хлеб не рос. Посеяли лён, и тот не уродился. Решили власти — пусть шишевские работают на лесозаводе. На том и успокоились.

Я уже позже, когда баба Катя жила в Омске, пытался расспрашивать её о революции и коллективизации. Революцию баба Катя не заметила. В Гражданскую заскочили в Усть-Шиш белые. Зашли к ней во двор, дали крупы, соли. Сказали, чтобы сварила кашу. Не успела каша взбухнуть, как началась стрельба. Потом во двор вошли красные, съели кашу, облизали ложки, сели на лошадей и уехали. Бабушкин брат Лука Быков был репрессирован. Жил он в Новоягодном, в девяти километрах от Усть-Шиша, работал в школе учителем труда. Жил справно, выстроил себе сам двухэтажный дом.

В Новоягодном организовали два колхоза. Поделили землю, скотину. Но хозяйство вели в чересполосицу, поэтому часто случались потравы. И вот однажды председатель колхоза вызывает к себе троих охотников и приказывает им отстреливать скотину, которая нарушает колхозную границу. Охотникам и невдомёк, чем может это кончиться. Сели они в засаду и застрелили трёх колхозных боровов из супротивного хозяйства. Привезли на лодке к берегу, а втащить не могут. Тут дядя Лука и подвернулся, удружил охотникам несколько фугованных досок, чтобы втащить туши по гладкому настилу на берег. Налетели милицейские власти — бандитизм! Дядю Луку этапом отправили

на Колыму, там он и сгинул.

Народ на Шише жил тёмный, даже бога толком не знали, так, слышали, что он где-то существует, живёт вроде на небе, куда с земли ведёт лестница, а сама земля стоит на трёх слонах, а те — на черепахе, а черепаха плавает в бескрайнем море-океане.

Эти сведения вполне устраивали и меня, и мою бабушку, которая была неграмотной, и ничуть об этом не горевала. В церкви она была всего один раз в жизни на своём венчании, знала «Отче наш» и «Богородице, дева, радуйся», и этих молитв ей вполне хватало. Вообще на темы божественные и церковные баба Катя не говорила. Она знала, что бог есть, поэтому и жила просто и честно. Уже повзрослев, я заметил, что больше всего о боге, спасении тараторят люди в вере нетвёрдые и грешники, которых беспокоит вопрос: есть ли прощение, можно ли спастись покаянием? Так до смерти и маются, страшась загробной кары.

В Усть-Шише церкви не было, поэтому все, кто с усмешкой, а большинство и всерьёз, верили в колдовство, в русалок, леших, домовых, кикимор, лихоманку, то есть в то, что осталось в народном сознании ещё с языческих времён великих славянских богов — Велеса и Перуна. Конечно, в каждом доме были иконы, но, молясь Христу, люди не забывали и всяких анчуток. По приезду на Шиш мне мои сверстники много чего порассказывали о проделках этой нечисти, чем произвели на меня тягостное впечатление. Но вскоре я свыкся с существованием неведомых мне существ и барахтался в речке, не беспокоясь, что меня утянет русалка, ходил в лес, где, и правда, была уйма жутковатых на вид коряг, замшелых пней и чавкающих болотин.

Лес, вернее, тайга, начинался сразу за лягой. Водились там гадюки, но на глаза они попадались редко, и роились тучи мошки и комаров. Я бывал там каждый вечер, когда загонял домой корову. Овцы и свиньи всё лето были на подножном корму.

Тайга начиналась с буйных зарослей папоротника, и вот с ним мне до сих пор памятна одна история, произошедшая со мной вскоре после приезда, где-то в конце июня, в день Ивана-Купалы. Взрослые уже не отмечали этот праздник, но ребятня и несемейная молодёжь его праздновали весело. Жгли костры, прыгали через огонь, пели песни. Ближе к полночи все двинулись, выстроившись цепью, в лес. Я тоже пошёл вместе со всеми, до рези в глазах вглядываясь в темноту, чтобы увидеть цветущий папоротник. Летние ночи на Севере коротки, и мы пробродили по зарослям до рассвета, но так ничего и не нашли. Говорят, что цветок папоротника должен светиться. В ночном лесу было много светляков, но заветного цветка, будто бы открывающего клад, не было. А я его искал очень старательно, как и все. Но в руки он

нам не дался. Что это был за клад?.. Сейчас я вспоминаю эту ночь с тёплой грустью о том маленьком человеке, каким я был в свои восемь невозвратимых лет.

Конечно, религиозного воспитания у меня не было никакого. Я не знал священной истории лет до тридцати, пока у меня случайно не оказалась Библия, которую конфисковал у одного из курсантов военно-технического училища замполит факультета полковник Шушков. Изобразительное искусство, литература давали мне представление о самых известных библейских сюжетах, но Слово Божие было мне недоступно. Бог был для людей чем-то запретным. Говорить о нём, проповедовать имя Божье строжайше запрещалось, а вот материться, упоминая имя творца, не возбранялось. Впрочем, о гонении на церковь и Бога уже написано достаточно много, а в те годы я был защищён как от веры, так и от безверия…

Многообразие и величие мира постигалось мной самостоятельно, входило в душу само собой, и в этом, как я сейчас понимаю, было многое от язычества, от природной склонности человека одушевлять окружающий его мир. Для меня не существовало неживого мира, всё было живым, дышащим, трепетным. Никто не учил меня тому, что весна — это рождение всего сущего, я это понимал сам, когда смотрел на зелень листвы и травы, на хлопочущих возле гнёзд скворцов, на речку, сбрасывающую ледяной панцирь, на ручьи, устремляющиеся к ней с возвышенностей. Для меня это было великое время накопления чувств, душестроительство, которое совершалось само по себе, без назиданий со стороны взрослых.

Конечно, если бы в детстве мне сунули в руки скрипку, я бы научился на ней играть. Но сколько было бы пропущено из-за этих занятий чего-то такого, что прозевать человеку нельзя. Я сильно подозреваю, что абсолютное большинство людей не испытывали детской воли где-то между пятью и десятью годами, потому что их начинали чему-то учить, навязывать пристрастия, а ещё хуже — бить ремнём и ставить в угол.

О чём я думал в то время, кроме забав?.. Помню только одно: я выстроил теорию, что сначала появились самые маленькие животные, затем те, что побольше, затем большие и т. д. Это — первая ерунда, что пришла мне в голову, а сколько их потом было — смешных ребячьих выдумок — всего и не упомнишь.

Собственно, рек вокруг Усть-Шиша было три: Иртыш, Шиш и Луговая, которая вливалась в Шиш в самом его устье. Шиш был рекой лесосплавной, перегороженный и разделённый повдоль бонами. Ближе к берегу накапливались бракованные брёвна на дрова, дальше сортировался лес по размеру. На следующий после

приезда день я с изумлением и испугом увидел, как горбатенькая старушонка бодро пересекала реку, переступая с одного бревна на другое. Я ждал, что она оступится и упадёт, но этого не случилось, бабка добежала до противоположного берега и скрылась в переулке. Так я увидел ходьбу или перебежку «по моли», то есть по брёвнам, — способ переправы, которым все в деревне владели мастерски. Сплавщики могли находиться на вёртком бревне сколько угодно, лишь бы оно не тонуло под их тяжестью. Бывалые ухари бегали по брёвнышкам толщиной в руку. Я тоже со временем научился бегать «по моли», правда, удалось это мне не сразу, не один раз срывался в холодную воду, пугался до визга, но со временем освоился.

Работать мама устроилась на сортировку брёвен. Ей, маленькой, слабенькой, за копеечную зарплату приходилось, зацепив багром за бревно, направлять его в нужную сторону. Наверное, она спрашивала себя, зачем приехала сюда, что приманило, но мыслей её я не знал, но они, наверняка, были горькие.

Я же целые дни проводил на речке, познакомился с одногодками, и мы рыбачили. Правда, не помню, чтобы я поймал хоть раз больше пяти-десяти окуньков ли подъязков, но рыбалка меня увлекала. Ловили на самодельную блесну, фабричных не было. Наши блесны были сделаны из чайных ложек. Один конец привязывался к леске, к другому — крючок-тройчатка. Держишь в руках удилище и ходишь по бонам, поводя леской в разные стороны. Иногда подъязки брали, иногда — целый день проходишь и ни одной поклёвки. Я ведь был неук в рыбалке. С дядей Ваней, тётей Надей, соседями ездили неводить на Иртыш, потому что закинуть невод в Шише было нельзя, его дно было усыпано топляками и, что ещё более опасно, полузатонувшими стволами деревьев, которые плыли на глубине. По Луговой и её заводям шарили с бреднем, брали много рыбы. Приезжаем, а наши — бабушка, мама, мои младшие двоюродные братья — Лёнька и Витька — стоят на берегу, ожидают. Бабушка, как увидит полную лодку рыбы, так сразу и вздохнёт: «Опять всю ночь чистить её проклятущую, язви её!..» Но, как я уже говорил, соседи выручали бабушку: разбирали рыбу по домам. Я с ними со всеми перезнакомился. Бабушка Шишкина, махонькая, согнутая под прямым углом в пояснице, была той самой, что я увидел на реке на следующее утро после приезда. Я её побаивался, но как-то услышал, что у неё было двенадцать сыновей, и все погибли в Отечественную. Вот сейчас, пишу эти строки, а на сердце неизбывная грусть, а каково было бабке Шишкиной получать похоронки. За что и кому она заплатила столь страшной ценой?..

Уж, наверное, не за то, чтобы Россия заканчивалась, как сейчас, за Смоленском!..

У бабушки Кати на войне погиб сын Николай. От него осталась крохотная фотокарточка, с которой впоследствии мама заказала фотопортрет. Написал стихи «Портрет» и я. Дядя Николай был, видимо, способным. После семилетки где-то ещё учился. Потом его призвали и направили в зенитное училище. В 1942 году пришло известие, что он пропал без вести. Вот такая формулировка. А матери ждали, ждали пропавших сыновей, ждали до самой смерти. Ждала и бабушка, но не дождалась… После войны к ней приезжал сослуживец дяди Николая и рассказал, что эшелон, в котором они после училища ехали на фронт, разбомбили немцы, и Николай погиб. Наверное, так и было.

Дядю Ваню призвали перед войной в Дальневосточную Особую армию. Там он пробыл всю войну, затем пару раз выстрелил в сторону японцев. Пришёл из армии поперёк себя толще, отъелся на сое, а в войну, вспоминал, доходили от голодухи. Он женился поздно, взял из другой деревни Надежду — мордатенькую сбитую деваху. Сёстры невзлюбили её с первого шага: грязнуля, лентяйка, дурочка. Особенно негодовала тётя Шура, уже разведёнка, от которой сбежал Иван Малюкин, отец Лёньки. Наверное, огорчившись братовой женитьбой, она умотала в Кузбасс к моей маме. Всего больше мешают жить людям мелкие пакости, которые мы с тайным удовольствием делаем своим ближним.

На Петров день дядя Ваня, большой любитель дурацких шуток, чуть не лишил меня жизни: влил в меня две полулитровых кружки крепчайшей браги, настоянной на хмеле. Я выбежал из дома, упал в буерак и утонул бы в нём, но меня спас какой-то прохожий.

Лето пролетело одним днём. После Ильина дня с севера пошли тяжёлые низкие тучи, Ледовитый Океан дохнул предзимней стылостью на наши края, полетела листва, и зарядили дожди… Маму на работе сократили, и она подумывала об отъезде, чтобы не застрять на Шише на всю восьмимесячную зиму. И тут вдруг приехала Мамка Старая, быстро-быстро собрала наши вещички и увезла нас собой в Копай. На пароходе Мамка Старая не отпускала меня ни на шаг, всё не могла наглядеться на своё золотце ненаглядное. Я тоже был рад своей любимой тётушке. Капитан парохода оказался старым знакомым Мамки Старой — зимовал ещё до войны на Шише, знал там многих. Они подолгу разговаривали, а я бегал по самой верхней палубе, осматривал рулевую рубку, надоедал всякими вопросами, но мне

разрешалось всё. Уважение к Мамке Старой было столь велико, что пароход сделал незапланированную остановку возле Красного Яра, и мы пешком часа за два добрались до землянки в Копае.

Шиш, тайга сразу как-то отодвинулись, но схоронились в ребячьем сердце навсегда.

Голубое небо. Белый пароход.
Дыма гибкий стебель из трубы встаёт.
Хлюпают колёса. Плещется вода.
У речного взвоза хохочет ребятня.

С палубы я слышу звонкий смех и крик.
Но себя не вижу юным среди них.
Чёрными клубами в небо дым встаёт.
И уносит память белый пароход.

В детстве я любил подолгу смотреть на небо, на воду широкой старицы Иртыша, вслушиваться в стенания вьюги, завывание ветра в печной трубе, скрипы деревьев за окном и шум листьев. Во мне постоянно рождались какие-то музыкальные мотивы и, возможно, я мог бы стать музыкантом, но кроме балалайки и гармошек «двадцать пять на двадцать пять» в округе не было никаких музыкальных инструментов.

Из всех своих братьев и сестёр, а их выжило из четырнадцати десятеро, только мама закончила семь классов и год проучилась в бухгалтерском техникуме. Остальные были малограмотные, а Мамка Старая вообще не знала азбуки. Учёба в материнской родне шла туго, даже сейчас, я кажется, единственный, кто имеет высшее образование. Остальные — шахтёры, лесорубы, механизаторы, словом, достойные люди со своим определённым местом в жизни. Они, конечно, книг не читали, а мама была запойной читательницей. В самом начале пятидесятых годов советские писатели создавали нетленки социалистического реализма под Шолохова. Каждый год появлялись объёмистые романы в несколько томов, такие как «Семья Рубанюк», «Даурия», «Белая берёза», «Сибирь», и прочие творения. Всё это мама читала и, что характерно, вслух, потому, что наша землянка была своеобразным клубом для «красноармеек» — вдов солдат, погибших на Отечественной войне.

И вот, бывало, соберутся вечером у нас три-четыре вдовы, мама протрёт стеклянный колпак «десятилинейки» — керосиновой лампы, поправит фитиль, и начинается читка. Слушательницы сидят, не шелохнувшись, впитывают в себя незамысловатое повествование, иногда громко смеются, иногда в

особенно чувствительных местах краешками головных платков утирают набежавшие слёзы. И какая в людях жила тогда непоколебимая вера, что всё написанное — правда! Какой тогда был честный и чистый народ в своей основе! И всё это за последние каких-нибудь двадцать-тридцать лет было в нём изгажено!

Мама читала громко и выразительно. Увлёкшись, представляла действие романа в лицах, а я, свернувшись на деревянном самодельном диванчике калачиком, слушал, нет, жадно впитывал происходившие на страницах романа события. Конечно, сейчас можно сомневаться, то ли я слушал, может быть полезнее для меня в это время было учиться латыни, древнегреческому, но где всё это было взять в сибирской глухомани, вот и вырос я одноязычным, о чём можно, конечно, пожалеть, но страдать вряд ли стоит.

Я выучился читать быстро, едва ли не в один присест. Впервые я свою грамотность продемонстрировал Мамке Старой в Омске. Мы приехали с ней туда в гости к тёте Дусе и моей двоюродной сестре Жене, которые жили на окраине города и работали поварами в охране политического лагеря. Помнится, мы шли с Мамкой Старой по центральной улице Ленина, и я читал по складам: «Продукты», «Вино», «Овощи» и т. д.

Своих книг, по бедности, у нас не было. Я брал их в библиотеке. Почему-то сразу мне больше всего понравилась поэзия, может быть потому, что запоминал очень долгое время стихи с первого прочтения. Уже в двадцать один год в армии я выучил наизусть всего «Евгения Онегина» всего за три прочтения. Впоследствии, начав писать стихи всерьёз, я долго подавлял в себе эту способность, которая очень мне мешала работать: написанное вчера стихотворение никак не уходило, торчало в мозгах занозой. Постепенно я выучился его сразу забывать после того, как поставлена последняя точка. А может быть, это стало получаться потому, что я научился относиться к поэзии трезвее. Владимир Соколов сказал: «Я думал это охлажденье, а это было мастерство».

Но не будем о мастерстве. Я всегда считал и считаю, что это понятие к поэзии имеет самое незначительное отношение, всё-таки поэзия это не деланье табуреток и не тачание сапог, иногда поэт выдохнет в один миг такое, что потом всю жизнь он и его критические читатели в недоумении чешут затылок: как это у него получилось. Проза нуждается в мастерстве, живопись, исполнители, актёры, а музыка и поэзия, как не крути, это божий дар и таковыми пребудут всегда. И действительно, какое мастерство в гётевском «подожди немного, отдохнёшь и ты»?.. А

вот глубина поэтической мысли такая, что мороз по коже.

Мамка Старая была большая любительница стихов и поощряла мою тягу к ним самым прозаическим образом — дешёвыми карамельками, которые называла «смутьянками». Я читал наизусть стихотворение, а взамен получал кулёчки конфет, тогда я был сладкоежкой, не знал ни горького, ни кислого… Навсегда запомнилось: мама с Мамкой Старой окучивают картошку, а я, стоя почти по пояс в высокой ботве, читаю им наизусть первую главу «Кому на Руси жить хорошо».

В таком возрасте очень многие начинают писать стихи. Удивительно, но я не ощущал к писательству никакого стремления. И в детстве, и в юности я не написал ни одной строчки. Худо это или хорошо, судить не могу, но именно так. Это самый серьёзный парадокс моей творческой биографии, который для меня необъясним и даже загадочен. Этот вопрос без ответа, позволяющий делать самые фантастические выводы, однако в чём будет польза для других, если этот случай будет разгадан? Я никогда не относился к стихам как к «деланью» по Маяковскому, и, слава богу. Если что-то у меня и вышло стоящее, то этому я в самой малой степени обязан себе, всё вымолвил Некто, а я просто озвучил. Вот и всё. Такова, по моему убеждению, всякая истинная поэзия. А выстраивание творческого пути, поисков, накапливание литературного мастерства — всё это литературоведческий бред, который интересен только авторам различных критик, эссе, творческих биографий.

Мой поэтический опыт говорит о том, что стихи пишутся тогда, «когда поэт слышит музыку времени» (А. Блок), когда он ощущает, иногда почти телесную, связь с той неизречённой силой, которая движет его рукой. Но вот приходит момент, и всё это рушится, и поэт умер, хотя физически он жив. Но это уже всего лишь телесная оболочка без духовного содержания. И бессмысленно пытаться как-то воздействовать на эту, без преувеличения, божественную связь. Поэтому в поэзии есть многое от религии, а поэт — смиренный богомолец или еретик в этом сияющем храме. Это придаёт стихам величие, ныне почти утраченное: стихи нашего времени потеряли обаяние молитв. Да и последний век звучал какофонически. И сейчас можно сказать, что поэзия умерла. И это неудивительно, потому что в поэзии умер Бог, а всё что написано по инерции в XX веке — всего лишь тепло от остывающих углей сгоревшего костра. Сейчас слова холодны как пепел, а вместо мыслей мировых человеком повелевает аппетит.

Своим довольно неплохим для нашего времени образованием я обязан не школе, где мне пришлось нормально учиться лишь

восемь лет, а только себе, своей неутолимой тяге к чтению. Из школьных предметов мне нравились география и история, русского языка я панически боялся, потому что никак до сих пор не могу совладать с синтаксисом. В прозе, в стихах вроде расставляю знаки препинания без ошибок. А в Литинституте диктанты были для меня очередным стихийным бедствием. По своей тогдашней наивности я считал, что все писатели должны быть безукоризненно грамотными людьми. Оказалось, это далеко нет так.

Но беда писателей нашего времени не в слабой грамотности, а в том, что они, в своём подавляющем большинстве, не знают и не любят литературу.

Постепенно география и история заслонили от меня поэзию. Лет до четырнадцати я буквально бредил великими географическими открытиями, древним Римом и древней Грецией. Начиналось моё отрочество — наиболее воинственная и мечтательная пора в жизни человека, — и я грезил героями Гомера, тремястами спартанцами во главе с царём Леонидом, Спартаком, Магелланом, Куком, Дрейком, нашими первооткрывателями дальневосточных российских окраин — Берингом, Дежневым, Невельским. Я возмечтал стать кораблестроителем, и это в краях, где до ближайшего моря, по меньшей мере, четыре тысячи километров, но отрочество тем и прекрасно, что оно удивительно, и человек, пребывая в нём, как правило, не совершает таких поступков, о которых потом сожалеет всю жизнь.

У меня была книга нашего русского мореплавателя капитана Головнина о его путешествии вокруг мыса Доброй Надежды к Аляске, снабжённая великолепными рисунками. Увидев изображение парусного судна, я был пленён им и всю зиму делал модель парусника, причём полнопарусного, с фоком, гротом и бизанью — мачтами и набором парусов. Умения и знаний, как делать судомодели у меня не было, но я что-то сделал, правда, не испытывал его на воде, поставил на окно и к морю охладел. И сейчас оно меня не трогает. Много воды, а человек живёт на земле.

Посёлок, где я прожил почти восемь лет, начиная с семилетнего возраста, назывался Копай, потому что в своём подавляющем большинстве он состоял из землянок. Рубленых домов не было, только у тех немногих мужиков, что вернулись с войны живыми, стояли насыпные избы. Вдовы с ребятнёй, все до одной, жили в землянках. Я с мамой, Мамкой Старой и её дочерью Валей жил тоже в землянке. Она возвышалась над землёй не более, чем на полтора метра, и была сложена из

дерновых пластов, щедро обмазанных по бокам глиной, замешанной на воде и конском навозе. Крыша была тоже пластяной и мазаной глиной. Окна находились на уровне земли, а стены от окна вниз были стенами земляной ямы, тоже обмазанные глиной и побеленные извёсткой. Была в землянке печка, сени и дровяной сарай.

Наше жилище было крохотным, но я жил в нём нисколько не ощущая тесноты и низкого потолка. Было радио, сначала картонная тарелка, потом откуда-то появился приёмник в виде ящика. Зимой, когда мама не читала вслух, мы слушали радиоспектакли «Театр у микрофона». Так я познакомился с драматургической классикой, в первую очередь, с Шекспиром, с «Соловьём» Алябьева, услышал сладкоголосых Лемешева, Бунчикова, Нечаева, нашего омского певца Леонида Шороху, который обладал своеобразным и запоминающимся голосом. Радио рассказало мне о смерти Сталина, целине. Оно было единственной отдушиной в большой и неведомый мир, который поджидал подростка из Копая.

До 1954 года я раза три болел воспалением лёгких. Это были очень тяжёлые затяжные болезни. Кажется, в 1953 году я заболел весной, когда ещё снег не сошёл, и лето провёл в полнейшем беспамятстве. Очнулся, когда уже полетели первые снежные мухи. Часто меня мучила ангина, от которой я избавился в 1966 году, вырезав гланды.

В первом классе ещё зимой, едва упали две-три капели, мы с Мамкой Старой стали мечтать о том, как сделаем скворечник.

— Я принесу заготовки из цеха, — говорила Мамка Старая. — У нас как раз сейчас идёт фугованная доска, как шёлк, гладкая. А дома сколотим.

Фугованная доска — это доска с идеально гладкой поверхностью, обработанная фуганком.

В начале марта эти доски появились в нашей землянке, и Мамка Старая тут же сколотила скворечник гвоздями. Припасла она и берёзовую жердь, на которой скворечник был поднят над крышей.

Весна пришла в один день. На улице воды — вброд, сугробы осели. На тополе и берёзе возле дома напыжились почки, и мы решили, что пора скворечник поднимать, ибо шла последняя неделя марта.

Мы возились со скворечником, и тут подошёл к нам сосед. Посмотрел и говорит:

— Не будут у вас жить скворцы…

— Это ж почему? — вскинулась Мамка Старая.

— А потому: доски у вас гладкие. Скворец залезет внутрь, а

обратно будет скользить коготками, а ему цепляться нужно. Потом, скворечник проконопатить надо, чтобы в нём темно было.

— Да. — растерялась Мамка Старая. — А я думала, как красивше.

— Не расстраивайся. Я сейчас свой принесу — у меня их штук пять понаделано. Поставим твой и мой. Посмотрим, где заживут скворцы.

Поставили два скворечника. Фугованный подняли над крышей, а соседский воткнули в угол огорода. Только закончили работу, как налетели всем кагалом воробьи (откуда только взялись!) и давай драться за комфортабельное жильё.

— Пускай воюют, — усмехнулся сосед. — Скворец, если выберет себе скворечник, живо их оттуда повышвыривает.

Прилёт скворцов я проглядел. Иду из школы и вижу, что вокруг соседского скворечника бушует птичья драка. Летит мусор из домика, летят в разные стороны взъерошенные от полученной взбучки воробьи. Скворец выпрыгнул из лаза на приступку, выбросил из клюва последний кусочек ваты, принесённый воробьями, огляделся, поднял голову и запел. Он выщелкивал один звук за другим, выводил трели и рулады и, наверное, изнемог бы в своём усердии, но прилетела его верная подруга, скворчиха.

Они разом взметнулись в воздух, исчезли, но уже через минуту явились назад с какими-то веточками в клюве. Скворцы приняли скворечник и начали вить гнездо.

А наш, поблескивающий гладкими боками, скворечник, который мы сделали с Мамкой Старой, надолго остался стоять пустым. Даже воробьи в нём не поселились, хотя он был красив, как настоящий птичий дворец.

Однажды Мамка Старая принесла что-то в вязаном платке и, улыбаясь, спросила:

— Вот, всё у нас в доме есть: и кровать с панцирной сеткой, и стол, и табуретки, а чего нет?..

Мы стали гадать, чего не хватает в землянке для полной меблировки. Гадали, пока Мамка Старая не развернула платок и не поставила на пол крохотного котёнка. Он был ещё так мал, что покачивался на своих кривоватых лапках, а его глаза не приобрели определённого цвета.

— Рыжик!.. — восторженно завопил я.

Рыжик прижился в землянке, освоил все тёплые и светлые места, в первую очередь, печку, учил со мной уроки, спал у меня под боком.

Минула зима. Летом Рыжик освоил окрестности вокруг землянки, даже гонялся за соседскими цыплятами, а к следующей

зиме заматерел, превратившись обличьем и повадками в настоящего хищника.

Начались позёмки, дверь в сенях стали прикрывать, и Рыжик заимел привычку стучать лапой в окно, благо, что оно находилось на уровне земли. Глубокая ночь, все спят и тут в окно стук: «Открывайте, хозяин пришёл!». С руганью его запускали в землянку, он начинал в потёмках проверять чугунки и кастрюли.

— Ах, язви твою душу! — ругалась Мамка Старая и, схватив полотенце, загоняла кота под кровать.

Озлились на Рыжика, перестали его пускать ночью в дом, пускай, дескать, замерзнёт. Ушёл Рыжик, бродил где-то неделю, явился с отмороженными ушами и хвостом. На следующую зиму походы Рыжика по ночной военной тропе возобновились. Правда, стучать в окно он перестал, но являлся какой-то засаленный, ну, настоящий бомж. Где он по ночам отирался, мы не знали, да и мест для выживания в Копае не было — ни котельной, ни теплосетей.

Выяснилось всё как-то утром. Мама стала открывать печную трубу, а она у нас закрывалась вьюшкой. Словом, открыла конфорку, а оттуда, из печной трубы чудо-юдо перемазанное — Рыжик. В трубе он и спал, на горячей вьюшке.

Отмыли его, уложили на печку. Мама и Мамка Старая сели на диванчик возле печки и вяжут. Вдруг на них сверху полилось.

— Рыжик! Что ты делаешь, гад!..

А он от крика еле проснулся, умаялся бедняга, открыл один глаз.

Жил у нас Рыжик лет пять, потом исчез…

Жил я не скучно. Никаких особых внутренних переживаний, о которых так любят распространяться мастера так называемой психологической прозы, я не испытывал. Я был обыкновенной чистой доской, на которой можно было написать, что угодно, но бог хранил меня от всего скверного, да его и не было в моём окружении. Наши пацаньи игры были бесхитростны: лапта, «чижик», «бить бежать», «зоска», позднее — футбол, волейбол, бег на лыжах, санки. Дни за днями проносились стремительной чередой, и сейчас я вряд ли припомню что-нибудь значительное, что определённо повлияло на мою будущность. Я просто рос, как растёт дерево. Жизнь моя не знала никаких сложностей, меня не ругали, не били, не унижали, больше того, меня все любили.

Меня просто и чисто одевали, поили от пуза молоком, кормили здоровой пищей, и я, помнится, на тринадцатом году сразу вытянулся сантиметров на двадцать пять, стал большеголовым худым подростком, почти юношей.

Конечно, меня можно было принять за маменькина сынка, но что такое маменькин сынок, в тех условиях, что я жил? Начиная лет с восьми, я копал огород под картошку, пилил с матерью дрова, колол их один и сносил в сарай. В девять лет наш сосед выпросил меня у матери, чтобы я помог ему заготовить берёзовые жерди для строительства хаты. Это был скупой и негожий мужичонка: обещал мне подарить рубаху, но так и не подарил. Мы с ним двое суток провели в лесу, заготавливая берёзовые слеги, ночевали в промокших от дождя копнах, но я даже не заработал насморка. После шестого класса я месяц работал на кирпичном заводе, а эта работа не для маменьких сынков.

Десятилетнего меня муж моей двоюродной сестры Вали Гошка Кирдяшкин вовлёк в самовольную порубку и кражу леса. Он жил у нас и задумал строить свою землянку. Для этого нужны были жерди. И вот поздней осенью я с тремя мужиками ночью оказался в березняке, конечно, не понимая опасности предприятия. Гошка и его приятели понимали, поэтому торопились скорее нагрузить машину спиленными и очищенными от сучков берёзами и поскорее уехать. Мужики пилили, а я обрубал сучки. Было холодно, и на обратном пути все, кто сидел в кузове, замёрзли до озноба. Ворованный лес спрятали под соломой и зашли к нам в землянку. Мужики стали пить водку, быстро опьянели. Заставили и меня выпить целый стакан ледяной водки. Я обеспамятел и наутро проснулся с жестокой ангиной.

Старое русло Иртыша простиралось дугой километров на двадцать. На его левом высоком берегу вольготно расселились деревня Красный Яр, молочно-консервный завод, барачный посёлок завода, Копай, затем деревни Москали и Малороссы, которые шли друг за другом почти без всякого перерыва. Весной старица наполнялась водой, разливалась широко и неоглядно, затопляла противоположный пологий низкий берег, где было множество низин. Вода простиралась за горизонт, и какое-то время другого берега не было видно. Затем она спадала, а в июле, когда начинали таять снега на Алтае, вновь поднималась, но уже не так сильно, как при весеннем разливе. На старице как раз против Копая был очень большой остров, владение бесчисленных стай домашних гусей, которых хозяева выпускали весной и загоняли домой только поздней осенью. После гусей весь остров казался белым от выпавших перьев и пуха. Мы с мамой ходили собирать их и набирали очень много для подушек и перины.

От землянки до старицы не было и пяти минут ходу. Едва сходил лёд, мы, копайская ребятня, уже все были возле воды. Купались, и простуда не брала, а в июне, июле почти не вылазили из воды. Была и рыбалка, довольно хорошая, в старице обильно

водились окуни, щука, ёрш и другая рыба, которую скопом называли чебаками. Впрочем, рыбаком я был никудышным из-за своей непоседливости. А вот неводить, пройтись с бреднем мне нравилось: улов был виден сразу. Это, наверное, потому, что в тайге, на Шише, почти не рыбачили удочкой и ловили рыбу сетями и в огромных количествах. Я это видел в восемь лет, поэтому рыбалка в Копае меня не удивляла.

Сейчас вот нет проходу от детского сквернословия. Сейчас поглядишь на матерящегося малютку и, кажется, что не непотребные слова вылетают из детских губ, а выпрыгивают противные ядовитые жабы. Мы, к счастью, этого не знали. Не знали и мелкого воровства, потому, что в Копае никогда этого не водилось. У нас, по-моему, даже не было замка на входной двери. И ничего никогда не пропало. Конечно, несчастья или даже трагедии случались. Как-то почти у нашей землянки грузовик сбил насмерть какого-то прохожего мужика. Я впервые увидел мёртвого человека, и до сих пор он у меня в глазах: лежит в глубокой жёсткой колее, грязь, кровь, противный рвотный запах — в момент гибели этот человек обмарался.

В начале пятидесятых годов в нашей округе была уйма волков, которые порой нападали и на людей. Отчётливо помню, что несколько человек стали их жертвами.

— Волк!.. Волк!.. Волка везут…

Эти крики заставили меня отбросить в сторону учебник, надеть стёганку и выскочить за ворота. По узкой, подпёртой со всех сторон сугробами, дороге ехали розвальни, на которых стояла баба с вилами, а следом спешили соседи. Сани проехали мимо меня, но волка я не увидел, он был завален соломой. Заводская лошадёнка скользила на некованых копытах и храпела. Но возница, школьная уборщица Марья, крепко держала в руках вожжи. На безмужичьи, за войну она научилась справляться и с норовистым конём, и с племенным быком. И вообще была бой-баба!

Розвальни остановились возле её насыпухи. Окоченевшего на морозе волка протащили в избу, а мне опять не удалось его увидеть: оттолкнули в снег, и, пока я пурхался в сугробе, зверя на улице уже не было. Я протолкнулся в сени, но они были набиты людьми, и мне осталось ждать своей очереди.

Первыми вышли мужики Иван Полев и Виктор Петров. Они остановились на крыльце, скрутили по «козьей ножке» и закурили.

— Повезло Марье! Бирюк-то здоровенный! Он, наверное, спал в копне, а она его всполошила.

— Точно, испугался! Как прыгнул, а Марья, не будь дура,

вилы подставила.

— Так и сел на них всем брюхом. Теперь ей за волка премия выходит — полтыщщи!..

Наконец, в избе народу стало поменьше, и я протиснулся к широкой скамье, на которой лежал волк. Меня сразу поразило, он вовсе не был серым, каким его описывают в сказках, а скорее рыжеватым, широкогрудым с толстыми лапами и прямым хвостом. Смерть застала его в момент свирепого оскала, и хорошо были видны клыки, слегка желтоватые и мощные, способные разгрызть берцовую кость быка. Сейчас он был не опасен, но всё равно на меня повеяло такой жутью, что моё ребячье сердечко сжалось, а потом испуганно затрепыхалось, как синичий хвост. Запомнил я и глаза волка, льдистого цвета, в которых «зайчиками» отражался свет висевшей под потолком керосиновой лампы.

Зимой была главная забота — делать лыжи. Покупных у меня никогда не было. Мамка Старая приносила с работы несколько ровных досочек. В печке мы докрасна раскаливали кочергу, затем проводили, выжигая, на скользящей поверхности полосу, иногда довольно ровную. Затем наступал самый ответственный момент: загиб концов лыж. Для этого один край досок долго распаривали в кипящей воде, затем изгибали и закрепляли изгиб в нужном положении между двух деревяшек. Брезентовое или кожаное крепление прибивали гвоздиками. За зиму я ломал не меньше пяти пар лыж. Конечно, столько лыж купить в магазине, если бы они только тогда были в продаже, у мамы возможности не было.

Катались с высокого берега старицы, прыгали с трамплина. Иногда я ходил на своих самоделках в ближайший берёзовый колок, ставил там петли на зайцев, но, конечно же, ни один косой не попался, и, слава Богу. Сосед, дядя Вася, неплохой охотник как-то раз мне рассказал, что заяц от боли плачет, как малое дитя, и я ставить петли перестал.

Коньки у меня появились лет в восемь, обыкновенные «снегурочки». Привязывать их была морока. Тянешь, тянешь ремешки, прикручиваешь палочкой, а только выйдешь на улицу, и враз разъезжаются. Иногда помогал мне привязывать коньки мой родной дядя Пётр, фронтовик и танкист, уцелевший на войне. А он её прошёл от Сталинграда до Праги, а закончил в Китае. Демобилизовали его только в 1952 году. Он прослужил десять лет срочной службы, принёс с войны пригоршню солдатских медалей и гриву рыжеватых волос до плеч, что было привилегией ветеранов.

С дядей Петей в 1954 году произошла история, о которой следует упомянуть. Он работал на консервзаводе, в цехе варки

сгущёнки, так бы и проработал на своей «сладкой» должности всю жизнь, но его жена Варвара отправила его в Омск за покупками. Непьющий и некурящий дядя Петя уехал и пропал. И, что примечательно, никто, ни жена, ни родные сёстры этим не обеспокоились. Прошло два месяца — от дяди Пети ни слуху, ни духу. Наконец, пришло от него письмо, которое всё объяснило. В омском трамвае дядя встретил своего бывшего командира, полковника, танкового комбрига. Того назначили директором целинного совхоза, и он увлёк дядю Петю, бывшего механика-водителя на юг Омской области в деревню Патровку на Иртыше. Дело было весной, дядя Петя сразу сел за рычаги трактора и уже после сева, получив квартиру и подъёмные, вызвал к себе жену. Так он там и остался на всю жизнь. Варвара погибла в 80-х годах, попав рукой в какую-то машину на птичнике. У них было двое детей: Татьяна умерла в году 2006 в Омской области, а Галю жизнь забросила в Ульяновскую область, и она до сих пор живёт в Большом Нагаткине. Вот и вся, в нескольких словах, судьба моего кровного родственника, которого я очень любил не только за доброту, но и из-за того, что в нашем «бабьем царстве» он был единственным мужиком и, наверное, чем-то на меня повлиял.

Другого своего дядю, Леонида Осиповича, тихоокеанского моряка, затем кузбасского забойщика, шахтёра, я знал мало. Он наезжал к нам со своей женой Ульяной и двумя дочками в отпуск вместе с мужем моей младшей тётки Вали — Владимиром, и они с ним очень резво отдыхали — за день выпивали две бутылки водки и ведро пива. Дядя Лёня умер относительно молодым, лет пятидесяти, а Володя — сухой, долгий и жилистый мужик — жив, по-моему, до сих пор, и ничего его не берёт: ни водка, ни одеколон, ни стеклоочиститель. Был у меня ещё один дядя — Иван Осипович, живший в Усть-Шише вместе с бабушкой Катей, но он на меня никакого влияния не оказал. Ещё один мой дядя — Николай — погиб на фронте, как я уже писал, и в честь него и тоже погибшего моего дяди Николая с отцовской стороны меня назвали именем святого чудотворца.

Тетя Валя была очень симпатичной в молодости, но в семейной жизни ей не везло, у неё было два или три мужа, с ними она быстро расходилась, пока к ней не прибился пьющий, но хозяйственный Владимир, который по её словам, тащил в дом всё, что плохо лежит. Тётя Дуся была старшей из маминых сестёр. Это была высокая статная женщина с какой-то своей тёмной историей замужества. Дочь её Женя была большая рукодельница и астматик. Она умерла, не дожив и до пятидесяти лет. Детей у неё не было. Особо следует сказать о тёте Шуре, величественной своей статью женщине, большой гордячке и всезнайке. На

кирпичном заводе, где она работала обжигальщицей, её наградили орденом Знак Почёта, и это её окончательно возгордило.

Муж от неё, по-моему, сбежал, оставив ей сына Леонида, моложе меня четырьмя годами. Тётя Шура, как мне кажется, заласкала его в детстве: Лёнька вырос совершенным рохлей, имея способности, не учился, хотя мог бы стать неплохим художником. Тётя Шура не подпускала сына к девчатам. Только он начнёт с какой-нибудь дружить, она всё сделает, чтобы Лёнька её бросил. Вот и добросался: остался холостяком. Потом, спохватившись, тётя Шура предлагала ему невест и с квартирой, и с машиной, и с готовыми детьми, а Лёнька лениво говорил, что ему и так хорошо.

Все тётки и дядья были людьми рослыми, блондинами в рыжину, и только мама и Мамка Старая не удались ростом. И ещё, тётя Валя и тётя Наташа были чернявыми, говорят, что в свою бабушку, а остальные — в рыжего попа, как шутили они сами.

Так вот, у бабы Кати, как я уже говорил, было четырнадцать детей, а у её дочерей и сыновей один, от силы двое. Посчитать, так она одна больше нарожала, чем все её выжившие дети. Они произвели на свет всего двенадцать ребятишек. Вот так после Отечественной войны началось резкое сокращение рождаемости. И всё потому, что народ оторвался от земли, стало кружить и носить его по стране, как перекати-поле.

Мамка Старая сразу влюбилась в меня беспамятно, потому что она по своей натуре всегда была ребёнком — открытым, добрым и очень честным человеком, а взрослость всегда предполагает в нас известную долю хитрецы, того, что называется «себе на уме», изворотливости и себялюбия.

Незадолго до нашего приезда в Копай у Мамки Старой случилось ужасное — страшной и нелепой смертью погиб её муж Павел. Он был ранен на финской войне снайпером-«кукушкой» в пятку. То ли финн такой добрый оказался, то ли шутник или изверг, но дядя Павел получил очень серьёзное ранение в пяточную кость, которое излечивается очень трудно, годами. На Отечественную его не взяли. Когда в Усть-Шише забрали все призывные возраста и на паузке (барже) сплавили их в Омск, он остался в деревушке едва не единственным мужиком. Баб погнали на лесозаготовки, и они скоро начали голодать: хлеб на Шише привозной, свой не растёт, скотину власть оприходовала вплоть до курей. Валят бабы лес, а лоси рядом ходят. Но как зверя добыть?

Прослышал дядя Павел про эти невзгоды, сказал жене, чтобы

запрягла коня в кошёвку и отвезла его на лесозаготовки. Так и сделали. Выбрал дядя Павел укромное место и схоронился, лёжа в кошёвке. Ходить он ещё не мог, но сумел-таки застрелить одного любопытного сохатого. Мясо пошло в общий котёл.

С дядей Павлом Мамка Старая жила как у Христа за пазухой. Он работал механиком, хорошо зарабатывал, рыбачил, охотился, во дворе дома мычала и блеяла живность. И вот в 1948 году случилась беда. Уже подмораживало, но утки шли на перелёт дурью, было их видимо-невидимо. Дядя Павел выпросил на работе отгул, завёл мотоцикл и умчался километров за пятьдесят на озеро. Там накачал лодку, сделанную из старых автомобильных камер, бросил в неё ружьё, припасы и поплыл сквозь камыши. Озеро было мелким, но обширным, километров десять в ширину, а глубина не превышала и двух метров. От берега дядя Павел отплыл километра на три, высматривая уток, но вдруг лодка прохудилась и пошла на дно. Он взял ружьё и побрёл к берегу. Вода доходила ему до подмышек. Не дошёл он до берега совсем немного, остановилось сердце, и когда его нашли, он так и стоял вмёрзшим в молодой лёд.

После его смерти Мамка Старая стала попивать брагу, хороводиться с солдатками. Говорю об этом с её слов, как она мне рассказывала. «Я, — говорит, — Коленька, если бы не ты, точно от пьянки бы подохла. А ты меня остановил. Пришёл ты как-то из школы, а я пьяная с флягой браги в обнимку лежу, не могу подняться. Ты начал меня ругать за пьянство, а потом заплакал. С тех пор я в рот хмельного не взяла».

Прожила Мамка Старая почти девяносто лет, в ясной памяти и в здравом уме. Её дочь Валя была старше меня на двенадцать лет. Смотрю сейчас на её фотографию, вспоминаю, как она невестилась с подругами. Валя, как и мама её, была простодушна до простодырости, готова была последнюю рубашку с себя отдать. Муж её, Гошка Кирдяшкин, тоже, скорее, у соседа будет работать, чем у себя. После его смерти Валя сошлась с его родным братом, который вернулся из тюрьмы после большущей отсидки за убийство.

Вот такие иногда жизнь выламывает коленца.

Со стороны отца я свою родню почти не знаю. Запомнилось, как лет шести, когда меня украл отец, я какое-то время жил у деда и бабки в деревне Луговой Тальменского района. Дед Карп был высокий и тощий, бабка — поперёк себя толще. Спал я на печи, вот, собственно и всё.

Жизнь Копайская. Кончина Сталина…

Вернувшись из Усть-Шиша, мама устроилась работать на водонасосную станцию консервзавода, Мамка Старая работала в бондарно-ящичном цехе. Мама зарабатывала 360 рублей и ещё подрабатывала шитьём платьев, юбок и блузок для копайских баб. Появилась мода на кружева и вышивки. Вязали скатерти, занавески, подзоры, накидушки на кровати. У меня до сих пор хранится кое-что из этого рукоделья. Вязать я не учился, а вот вышивать — вышивал — и гладью, и простым крестом, и болгарским, может быть похуже, чем вице-губернатор из «Мёртвых душ», но довольно сносно. Однако кропотливая мешкотная работа мне не нравилась, и я забросил рукодельные занятия, благо, что меня к ним никто не понуждал.

Мы с Генкой Полевым, моим соседом и одноклассником, вдруг стали отчаянными вояками: принялись делать сабли, копья, щиты, луки со стрелами. Подобралось ещё с десяток соседских мальчишек, и мы всё свободное от школы время сражались друг с другом, строили снежные крепости, заливали их водой и брали атакой эти ледяные укрепления. Шишек и ссадин было много, были и слёзы обиженных, но проходило какое-то время, и мы опять принимались за своё. Взрослые в наши «войны» не вмешивались. У них своих забот был полный рот, а тут ещё назревали невиданные события: судьба беспощадно настигала того, кто был живым богом — Иосифа Виссарионовича Сталина.

Одно чувство владело после смерти вождя всеми людьми — от мала до велика, один ножевой вопрос: как дальше будем жить? Смерть Сталина воспринималась народом как вселенская катастрофа, и плач великий стоял на всей одной шестой части земного шара. Но длилось это недолго, жизнь продолжалась и новые заботы заслонили и эту беду, тем более, что ничего не рухнуло, заводы работали, магазины работали, хлеб и водка были в свободной продаже, а тут ещё послабление вышло с налогами, словом, всё перемололось, и течение русской жизни вошло в своё русло.

О смерти Сталина я услышал на построении всех учеников школы. Наш директор Кузнецов с хрипотцой и слезами в голосе сказал, что умер великий и гениальный вождь трудящихся всего мира. Завыла сторожиха, мы захлюпали носами, стали тереть глаза, а директор нравоучительно произнёс:

— Я хочу подчеркнуть, что если б товарищ Сталин не курил трубку, то он бы ещё прожил лет десять, подумайте ребята о своём здоровье, а то в школьный туалет нельзя зайти, от дыма

махорки — хоть топор вешай.

И так далее в том же духе.

Ещё зима грозила стужей.
Позёмка снег свивала в жгут,
Когда в честь Сталина из ружей
Был погребальный дан салют.

И заревел гудок завода
В посёлке, родине моей.
И тяжкий гроб вождя народа
Был установлен в Мавзолей.

И подобрав шубейки полы,
Я шёл по снегу в третий класс.
И посреди саманной школы
Поспешно выстроили нас.

Внесли портрет, оббитый крепом,
И водрузили у перил.
И наш директор, глядя слепо,
Про смерть вождя заговорил.

И мы со слов его узнали,
Что если б трубку не курил,
То друг детей — товарищ Сталин —
Ещё б десяток лет прожил.

Сказал директор и заплакал.
Он старый, добрый был чудак.
И полетели с шумом на пол
Окурки, спички и табак.

Не повторял директор дважды.
Мы сразу бросили курить.
Мы все усвоили, что даже
Вождей куренье не щадит.

Мама, Мамка Старая тоже плакали и горевали. Но через какое-то время всё стерлось, всё ушло. А в 1961 году бывшего вождя выкинули из Мавзолея. Так закончилась эпоха Сталина и началась эпоха распада и гниения великой страны. Время, в котором мне предстояло провести всю свою жизнь, чтобы на её закате увидеть позор и невиданное унижение России.

Арестовали Лаврентия Берию, почему-то простой народ приписывал этот подвиг Маленкову. Может быть потому, что он снизил налоги колхозникам и был Председателем Совета Министров, как и Сталин. Во всяком случае, мне запомнилась такая частушка:

Берия, Берия
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков!

Берия был объявлен английским шпионом и расстрелян. И вот что интересно: сейчас на него свалили всю вину за репрессии конца 1930-х годов и почти ничего не говорят про таких выродков как Г. Ягода и Н. Ежов. Но Берия возглавлял наш атомный проект. Впрочем, что ему сейчас до мнения живущих. Если существует преисподняя, то он, несомненно, там, «но никаких вестей оттуда не поступает к нам сюда». Однако существует писаная история, и Берия в ней — ужасное пугало. Компания по разоблачению Лаврентия Павловича продолжалась недолго, но я, помнится, в ней поучаствовал: булавкой выкалывал глаза на портретах Берии в учебниках и старых газетах.

Наступили времена крутых перемен, прошёл XX съезд КПСС, в заводском клубе прочитали мужикам и бабам письмо ЦК КПСС, у нас в землянке недолгое время, дожидаясь оформления документов, с неделю жил какой-то, выпущенный по чистой, политический зэк. Помню, я с ним о чём-то спорил, что-то доказывал, а он курил папиросу за папиросой и говорил: «Ну, ты, Николай, голова!». У меня от этих похвал чуть ли не павлиний хвост вырастал.

Вскоре деревенским стали выдавать паспорта (нас это не касалось: мама работала на заводе), и началось великое переселение в города. Люди стали раскрепощённее излагать свои мысли, или то, что они за них принимали, словом, все болтали, и много. Появилось увлечение политикой, знания о которой черпались из газет и слухов, но это была особая хмелящая новизна свободы, которая, конечно, была лишь видимостью. Важно другое — осудив культ личности, все безоговорочно верили в то, что Ленин, компартия и цели коммунизма — вещи святые, и никто не пытался, даже в мыслях, на них покушаться. Все безоговорочно верили в неизбежную справедливость как основу жизни.

Но пока мне было всего десять лет, я смотрел на мир доверчивыми и широко распахнутыми глазами, вбирая в себя всё,

что было вокруг, как вбирает влагу семя, случайно брошенное в землю. «Дар напрасный, дар случайный» — пушкинская мысль так и не разрешена. Если жизнь — дар случая, отсюда может быть сделан только один вывод — всё позволено, и Достоевский на это указал. Если существует предопределение, то человеку на Земле уже не одиноко. Но эти «проклятые вопросы» ещё ожидали меня где-то впереди.

В Копае я был не единственным, кто мечтал о далёких морях и жарких странах в холодные зимние дни. Генка Полев и его двоюродный брат Володька Пономарёв не только мечтали и фантазировали, но и летом 1953 года два раза убегали из дома «в дальние страны». Меня они с собой не позвали ни разу, за что я на них сильно обиделся. Готовились они основательно: в крутом склоне старицы вырыли пещеру и стали заготавливать в ней припасы: спички, соль, сухари, сгущёнку. Когда поднакопили, ушли в побег. Мимо Копая по Большереченскому тракту часто ездили грузовики в сторону Тары, на Север. Времена были добродушные, на перекрёстке Генка с Вовкой вместе с другими забрались в остановившийся пустой грузовик и пустились в путь. Отыскали их на второй или третий день в ста верстах от Копая. Отцы устроили им выволочку, но дней через десять они вновь убежали, на этот раз на лодке. Догребли до Иртыша, но в него войти не смогли, вода в старице стояла низкой, и перед Иртышем появилась широкая песчаная перемычка. На этот раз домой они вернулись сами.

Трудно сказать, что подвигает подростков убегать из дома, а это было всегда, наверное, не всё хорошо в доме, только этим можно объяснить такую охоту к перемене мест.

Летом 1953 года я открыл для себя водонасосную станцию, где работала мама. Водонасосная стояла наобочь от завода на берегу старицы. Внизу на самом краю берега размещался первый подъём — глубокий и широкий колодец, где стояли насосы, наверху был второй подъём: насосная станция, большие резервуары для очистки и хлорирования воды, насосы и дежурный дизельный двигатель, который обслуживали бывшие шофёры, списанные по нездоровью с автомашин. Здесь они коротали время, ожидая пенсию. Рядом с насосной находились два резервуара для воды, тоже на случай аварии, и водонапорная башня, куда закачивалась вода. В свою смену всем этим хозяйством распоряжалась мама. Посторонним на водонасосную вход был воспрещён, она была окружена до самой воды колючей проволокой и охранялась солдатами караульной роты, которые охраняли и другую водонасосную, снабжавшую водой паровозы на линии Омск — Называевка. Но в 1953 году охрану сняли, и

водонасосная стала для меня доступна.

Когда мама работала во вторую смену, а Мамка Старая тоже была на работе, вечера я проводил в водонасосной. Быстро сделав уроки, я осваивал новую территорию и находил много интересного. Ровно жужжали электромоторы, подмигивали на пульте электролампочки, всё это было как будто живым и загадочным. По крутой лестнице я спускался с мамой на первый подъём, пугаясь каждого шороха в кустах и криков ночных птиц, которые далеко разносились по воде. Боязнь первого подъёма я так и не сумел преодолеть, как и страха высоты, который угнездился во мне во время первого опрометчивого подъёма на водонапорную башню. Обычно вход в неё был закрыт, но однажды я увидел, что дверь в неё открыта, и начал подниматься по лестнице наверх. Помещение башни было пыльным, на лестничных ступенях валялись дохлые голуби, шумела, заполняя резервуары, вода. В небольшое оконце я глянул наружу и увидел как на ладони консервный завод, его цеха, машины, людей, огромный ледник, который заливали всю зиму и укрывали от солнца опилками. Рядом с заводом находилась пожарная команда с конюшней для лошадей, на которых выезжали по тревоге пожарные расчёты, чуть дальше стояла школа, баня и несколько бараков. Что-то меня толкнуло подняться ещё выше, я вылез через люк на металлическую крышу, ухватился за громоотвод и окостенел от пронзившего меня насквозь страха. Я не мог даже вскрикнуть. Сколько я так простоял не помню, может быть, даже на какой-то миг и потерял сознание, и опомнился только на земле, куда меня снёс на руках Казанцев, бригадир насосной.

Это был добрый дядька, но жизнь его покрутила. В 1952 году его арестовали и два месяца продержали в тюрьме. Пришёл он оттуда едва живой. Года через два, уже после расстрела Берии, на дне рождения мамы, выпив браги, рассказал, что с ним было в тюрьме. Его забрали ошибочно, приняв за какого-то преступника, совершившего что-то ужасное где-то на Дальнем Востоке. Следователи не удосужились даже проверить его биографические данные. Сходились фамилия, имя, отчество, а остальное… Остальное из него выбивали смертным боем. Он уже готов был подписаться под всеми бумагами, но что-то помешало его мучителям, и его выпустили. Беда не приходит одна. Вскоре у него начался рак верхней губы, ему его вырезали, но обезобразили.

В начале пятидесятых годов Омск был окружён множеством лагерей, населённых десятками тысяч заключённых. В одном таком лагере, строившим кирпичный завод № 1, работали тётя Дуся и двоюродная сестра Женя. Я несколько раз был у них в

гостях. Особенно запечатлелась поездка осенью 1952 года. Я поехал с Валей Машкиной (Мамки Старой дочкой), они с Женей были почти ровня и дружили. Было это на октябрьские праздники. Тётя Дуся и Женя жили в бараке для вольнонаёмных в большой комнате с печкой. Рядом была столовая для солдат охраны, где они работали. Была казарма, несколько домов для начальства, а вокруг степь, поросшая колючим бурьяном и полынью. Сейчас Омск разросся, вобрал кирпичный завод № 1 в себя, а тогда было именно так: лагерь, обнесённый забором и колючкой, стройка и постоянно дующий ветер.

Случилось это на седьмое ноября. В гости к моим родственникам пришли трое солдат. Сели все за стол, подняли по стакану бражки и только выпили, как понеслось — стрельба, лай собак, крики. Солдаты убежали, я сунулся в окошко, но ничего не увидел, только забор лагеря и вышку, на которой двое солдат устанавливали пулемёт, а третий, вскинув автомат к плечу, короткими очередями стрелял во внутрь лагеря. Я выбежал из барака и увидел большую группу военных у ворот. Они были возбуждены и громко разговаривали. Почти все были вооружены автоматами. Со стороны стройки к лагерю приближались несколько грузовиков.

— Баграми их, баграми! — заорал багроволицый майор и начал крыть всех матом. Судя по всему, это был начальник лагеря.

Грузовики подошли, в них запрыгнули по десятку автоматчиков с собаками, заскрипели ворота, и колонна заехала в лагерь.

Смотреть было больше нечего, и я вернулся в барак. Ближе к ночи вернулись наши утренние гости, солдаты, они были разгорячены и громко разговаривали.

А в лагере произошло следующее. Основной состав заключённых были политические — бандеровцы, лесные братья из Прибалтики, бывшие полицаи, старосты, власовцы, болтуны и прочая публика, отмеченная грозной 58-й статьей. Весной 1952 года к ним добавили уголовников. Те стали устанавливать свои порядки, но натолкнулись на сопротивление. Наиболее стойкими были власовцы, которые сдались англичанам, пробыли какое-то время на рудниках в Африке, а потом были выданы Советскому Союзу. Их почему-то не раскассировали, не раскидали по всем лагерям, а всем батальоном с полтысячи человек направили в Омск. Между этими людьми существовала спайка, и они, что называется, «понесли уголовников по кочкам». Их поддержали многие политические из бандеровцев и прибалтов. Началась резня, прямо на плацу, где столкнулись до тысячи с лишком

человек. Кое-как удалось автоматными и пулемётными очередями уложить всех на плац. Тот, кто поднимался, немедленно получал пулю.

В лагерь вошли грузовики с солдатами. Они и эвакуировали блатных из лагеря. Делалось это просто: заключённого блатаря цепляли багром и волокли к грузовику, брали за руки, за ноги и бросали в кузов. Так и действовали целый день, пока не подобрали всех. Политических оставили. Они и построили завод, в посёлке которого мне предстояло прожить много лет.

Думаю, нужно сказать, как мы жили в начале 1950-х годов в материальном отношении. Мама зарабатывала 360 рублей, Мамка Старая — 800 рублей, Валя — 600 рублей, на меня приходили алименты, около 300 рублей. Всего выходило где-то 2000 рублей в месяц. У нас была своя картошка, капуста, лук, чеснок. На зиму покупали двух баранов по 180–200 рублей тушка. Хотя мы жили на молочно-консервном заводе, сгущёнки на столе не было, сахар брали в магазине, молоко — у соседа деда Корпача. Помнится, было много красной рыбы — горбуши, в основном. Стоила 90 копеек за килограмм. Дешёвыми были рыбные консервы, хлеб, масло, молоко — рубль 80 копеек за литр. Все мы по тому времени добротно одевались, что видно по фотографиям. Но нужно учесть, что мы не покупали ни мебели, ни электробытовых приборов, ни телевизоров. У нас в землянке не было электричества, поэтому всё это нам было ни к чему. В 1955 году мне мама купила велосипед, очень нужную для меня вещь, ведь без своего велосипеда моё детство было бы обиженным, и мама это поняла.

Как мы питались. Много ели щей, борщей, супов, картошки во всех видах, грибов, ягод, молока, каш, капусты, огурцов. А вот салатов и винегретов не делали. Или не умели, или не было в заводе у всей родни. Я до сих пор не ем винегретов и салатов, чем попадаю всегда в неловкое положение в гостях. А вот печёное, мучное, блины, пончики до сих пор люблю, поскольку от них пахнет моим детством.

С завода тащили, несмотря на то, что тогда за баночку сгущёнки можно было схлопотать пять лет срока. Я всегда с любопытством смотрел на грузчиков, которые носили широченные штаны. Поговаривали, что в этих штанах они выносят с завода сахар и сгущёнку. Как-то мне повезло. Я шёл по дороге и наткнулся на большой, килограммов на десять, кругляк мороженых сливок. Он, видимо, выпал из проезжавшей машины. Маме тоже как-то раз повезло. Пошла она ночью на работе проверять запоры на водяных бассейнах. Смотрит, а рядом с крышкой лежит полмешка сахара. Но это были единственные

случаи, поэтому и запомнились.

А Мамка Старая видела настоящий голод. В 1944 году командировали её с вагоном сгущёнки в Ленинград. Это была её первая и единственная поездка в Россию. За Москвой она видела разбомбленные и сожжённые города и сёла. В Ленинграде ей за банку сгущёнки предлагали очень дорогие вещи, но ничего с собой она не привезла, кроме памяти о немыслимом людском горе.

У меня долгое время о войне представления были киношными. В начале пятидесятых в Копай раз в неделю приезжала кинопередвижка. Крутили «Сталинградскую битву», «Падение Берлина», «Кавалер Золотой Звезды», «Кубанские казаки» и другие красочные фильмы. В них война и послевоенная жизнь страны были столь тщательно отлакированы, что ослепляли зрителей, и им верили безоговорочно.

В Копае жили люди разных национальностей: русские, украинцы, немцы. Каждого привела сюда своя нелёгкая судьба. У нас в классе училось много немцев. Регинка Зигерс жила через землянку от нас. Мы с ней дружили, она свободно говорила по-немецки, её родители получали посылки из Голландии. Только закончилась война, казалось бы, отношение к немцам со стороны пострадавших русских должно быть очень плохим, но мы жили удивительно мирно, не думали, что этот русский, а этот немец. Сейчас вот подросшие русские немцы говорят о лишениях, которые они, якобы, перетерпели во время войны. Да, их выселили из Поволжья, но там была прифронтовая зона. Но немцев не призывали в армию, не посылали на фронт, хотя вполне могли бы всех загнать в штрафные батальоны. Их направляли в трудовые армии. Но у меня отец как близорукий был сначала в трудармии, а потом попал на Курскую дугу, был ранен, вполне мог быть убит, а немцы выжили.

Дядя Петя о войне ничего не рассказывал, кроме некоторых, на его взгляд, смешных случаев. Один из них произошёл с ним в Германии. Они захватили какой-то хутор и, воспользовавшись передышкой, сели за обед. Хозяйка — немка — прислушивалась к их болтовне и всё поглядывала на дядю Петю. Наконец, спросила его о чём-то. Кто-то умел говорить по-немецки и перевёл вопрос. Хозяйка спрашивала дядю Петю о его национальности. Тот ответил, что он сибиряк. Хозяйка онемела от ужаса, который тотчас отобразился на её лице, и куда-то убежала. Скоро она вернулась с геббельсовской листовкой. На ней был изображён здоровенный рогатый русский солдат с подписью «сибиряк». А дядя Петя был медноволосым со светлыми глазами блондином, с чеканными чертами лица и вполне отвечал представлениям о

чистокровном арийце. Это и поразило немку больше всего: сибиряк и совсем не рогат.

Со мной в 70-х годах работал один тракторист, испытатель сельхозтехники. Под Сталинградом он был пулемётчиком и попал в плен. Его сразу же хотели расстрелять, но выручил один немецкий офицер, поражённый его нордической статью: рост под два метра, рыжина в волосах, белая атласная кожа. Попал он в Норвегию, добывал руду, затем — на наш советский лесоповал, где отмантулил до 1954 года.

Жизнь Копайская, продолжение

Копай — небольшой посёлок. Зимой завьюжит его поверх крыш, ветра стащат на него весь снег с округи, чтобы упаковать надёжнее землянки от холода. Поле просвечивает чёрной голизной земли, а посёлок завален плотно утрамбованным снегом, попыхивает печными трубами, живёт своей зимней скучной жизнью.

Весной, летом, даже осенью всё по-другому, всё в Копае выдвинуто наружу, напоказ. Когда на улице тепло и сухо, еду варят на печурках — самоделках, сложенных из десятка кирпичей во дворах. Весь народ предпочитает держаться снаружи, выходит, выползает из опостылевших за зиму землянок, копошится в огородах, заготавливает на зиму дрова, месит глину, обмазывает свои утлые жилища, чинит заборчики или просто бездельничает, радуясь солнцу и тому, что перезимовал, слава богу, и жить можно.

Впрочем, просто сидеть без дела наши копайские бабы не умели. Если не было срочного дела, они «искались». Сейчас, наверное, мало кто слышал об этом необходимом для чистоты и здоровья занятии. Сейчас у наших женщин в распоряжении имеется любое мыло, шампуни, уйма других профилактических, ароматизирующих, умягчающих мазей, кремов, которыми они умащивают не только лицо, шею, руки, но и свои «приманки» и «ловушки», настороженные на мужчин. Тогда всего этого не было, в качестве очищающих средств при мытье использовали хозяйственное мыло и «щёлок» — раствор древесной золы в мягкой снеговой или дождевой воде. И головных вшей была пропасть! Поэтому любую свободную минуту женщины использовали для «искания». Делалось это так. Волосы тщательно вычёсывали мелким костяным гребнем, потом одна из женщин прядь за прядью переворачивала на голове товарки волосы и кончиком ножа давила трескучих гнид — яйца вшей. Летом это обычно делалось на улице и не вызывало ни у кого удивления.

Мужикам бороться с этим бедствием было проще: всегда можно побриться наголо, под «Котовского». К слову вспомнить, я, шестилетним, с изумлением наблюдал, как мой дед Карп Полотнянко парится в русской печи. Делалось это следующим образом: русскую печь протапливали, затем выгребали золу, выметали пыль, застилали соломой, и банный полок был готов. После «бани» окунались и мылись в бочке.

А вот как мыли меня, не помню, но в печь, наверное, мальцов не сажали.

В Копае слышно всё насквозь. Наши соседи Кузнецовы утро почти всегда начинали с ругани. Тема всегда была одной и той же — кто ночью стащил из чугунка мясо и съел его тайком? Ругаются все, кроме глухонемого молодого мужика Сашки. Это был здоровый амбал, который с утра всегда бросал вверх на вытянутую руку двухпудовую гирю, затем брился, умывался и шёл на работу. Сашка был копайским франтом. Собирался на гулянку он тщательно. Долго и старательно гладил костюм, даже носки. Потом одевался и начинал чистить хромовые сапоги. Да как чистил! Щётка так и мелькала, а Сашка входил в азарт и уже чистил не только хромачи, но уже и брюки сапожной щёткой. Поэтому обувь, штаны и пиджачные рукава у него всегда блестели.

Старая Кузнечиха была склочной бабой, с ней опасались связываться, но она получала отместку другим путём: то к ней под окно дохлую кошку бросят, то дымовую трубу забьют, то телегу на крышу землянки заволокут и подожгут. Телега горела так сильно, что пожарные с завода примчались, весь Копай переполошили.

С другой стороны от нас жила Варвара Степановна с дочерью и зятем, тем самым, что возил меня в лес на заготовку, сгоряча пообещал подарить мне за это шёлковую рубашку, но так и не подарил, пожалел, а когда бывал пьяненьким сам заводил об этом разговор, порывался идти за рубашкой домой, наконец, уходил, но не возвращался. Варвара Степановна болела желудком и, когда я только приехал, ходила за мной с кружкой, чтобы я в неё посикал. Мочу она пила, не знаю помогало ли это ей, во всяком случае в момент нашего отъезда из Копая в 1958 году она была жива.

Интересная семейка жила у нас на задах: полуслепая мать со слепой дочерью. Они промышляли изготовлением браги. Проезжающие по тракту шофёры знали об этом, и возле их землянки всегда стояли машины, а пьяные шофёры валялись, как разбросанные по лужайке снопы. Этот пир горой закончился в один день: слепые подложили под дно бочонка самосад или сыпанули его в бражку, но очередная ватага шофёров упилась до полусмерти. Они обрыгали все свои машины, всю траву и кусты, все заборы. Очухавшись, но терзаемые головной болью и злобой, они обмотали землянку тросом, подцепили его к машине и снесли напрочь, предварительно выбросив из неё слепых брагоделов. Копайские бабы были очень довольны этой расправой.

Землянки нужно строить на сухом или достаточно высоком месте, которое не подтапливается весной или во время дождей.

Об этом, видимо, не подумали соседи напротив, и весной 1954 года их землянку вешней водой смыло — как корова языком слизала. Осталась яма, да куча кирпичей от печки.

Дед Корпачёв, или по-уличному Корпач, это учёл и построил свой насыпной домишко на высоком фундаменте. Весной его двор тонул в воде, а дед делал переходы из навоза через громадную лужу, которая не высыхала всё лето. Сама Корпачиха болела ревматизмом, и корову доил дед Корпач. Прогонят стадо, я беру банку и иду к нему во двор. Дед обмоет коровье вымя, и в подойник зашвыркают тугие струйки молока. Я стою, жду, во дворе пахнет свежим навозом, воздух звенит от мух. Наконец, молоко у меня. Пока дойду до дома, ополовиню литровую банку. Когда ягодное время, любимой едой было молоко с земляникой и чёрным хлебом. Вкуснота!

Сейчас в садах около Омска появились зимостойкие яблони, а тогда к нам завозили алма-атинский апорт, большущие, с детскую голову, вкуснейшие яблоки. Сейчас их нет в продаже, недавно прочитал в газете, что вывелся он в Казахстане по причине разгильдяйства. А ведь, судя по рассказам старожилов, до колхозов были у нас яблоневые сады в Малороссах и Москалях. Это были очень зажиточные деревни. Знаменитое сибирское масло, от продажи которого в Европу выручались громадные деньги, делали в этих деревнях, где были перед революцией развитое молочное хозяйство, маслодельни, множество кооперативов. Но всё это рухнуло ещё в начале 30-х годов, но не совсем. Кое-что оставалось, поэтому и построили молочно-консервный завод. Только омичи свою сгущёнку в магазинах не видели. Всё уходило на Север и в столичные города.

Весной 1954 года со мной произошёл дикий случай. Мы с Генкой Полевым попали на сабантуй — колхозный праздник после проведения посевной. Это было в начале июня. Уже с утра в ближайшие колки через Копай потянулись празднично одетые люди, пешком, на грузовиках и телегах. Мы с Генкой побежали за ними следом и как раз поспели к началу гульбища. Поначалу было всё чинно, пристойно — награждали победителей колхозной пашни, выступала самодеятельность, а потом началось застолье. Народ гулял широко и шумно. В многочисленных палатках и ларьках торговали пивом, водкой, конфетами и разной закуской. То там, то тут уже пробовали голоса подвыпившие мужики и бабы. Где-то к обеду все изрядно выпили. Мы с Генкой слонялись по лесу между палаток. И тут на нас обратил внимание продавец, подвыпивший мужик. «Бери, ребята, угощайся!..» И в пьяном кураже начал бросать в толпу связки баранок, конфеты, пряники. Затем стал расшвыривать бутылки

водки. Одна из бутылок подкатилась к нам под ноги. Мы её подхватили и рванули в сторону. Последнее, что я помню — Генка расковыривает куском ветки сургучную пробку. Очнулся я через сутки, когда пришёл участковый. Купеческая щедрость загульного продавца обернулась тем, что перепилась вся копайская пацанва. Кто-то из устроителей сабантуя смекнул, что дело пахнет керосином, и ребятишек стали собирать по лесу, грузить в кузов огромного «ЗИСа». Затем он медленно ехал по Копаю, останавливаясь у каждой землянки, и матери в куче набросанных кое-как тел отыскивали своих чад. Беспамятного, меня мама окунала в бочку с водой. Против продавца милиция возбудила дело, но чем оно для него кончилось, я не знаю. Но гульнул он с размахом, по-сибирски.

Человеческая память своим устройством напоминает чердак, где хранятся всеми забытые и давно отслужившие свой срок вещи. Так и память, в ней скапливается всякий хлам, подчас в сознании всплывает, ну, совершенная ерунда, пустяк, а ведь чем-то зацепилась в мозгу, укоренилась. Зачем мне помнить, например, это: наша соседка Гоношилова стоит посреди пыльной улицы и мочится, не снимая, не задирая юбки, моча падает в пыль, взбивает её и забрызгивает грязью её босые с грубыми, как берёзовые щепки, ногтями ноги. И что тут помнить, а ведь помню.

Возле консервзавода стояли добротные коттеджи для руководства и специалистов завода. В одном из них жили родители Валерки Блюма, моего школьного друга, а рядом — бездетная чета Киселёвых. И муж, и жена работали на заводе дегустаторами, пробовали на вкус каждую варку сгущёнки и были необъятно толсты, объёмны и неповоротливы. Можно сказать, что их полнота была профессиональным заболеванием. Избавлялись они от своего недуга тем, что по утрам пилили толстое сосновое бревно. Метровой толщины лесина лежала на земле, а они, пыхтя и потея, стоя на коленях, тянули из стороны в сторону двуручную пилу. Киселёвы были своеобразной достопримечательностью консервзавода из-за своей полноты. В то время толстяков было мало, жизнь заставляла людей подтягивать животы.

На краю Копая находился небольшой кирпичный завод, работавший только в летнее время. Работали в нём приезжие парни и девчата, жившие в общежитии. Возле него по вечерам начинала играть гармошка, и начинались танцы. Тогда это самодеятельное развлекательное мероприятие называлось «вечёрками». Конечно, вся ребятня Копая была там. Танцевали на поляне забытые нынче «тустеп» «польку», «падеспань». По тогдашней моде парни были в костюмах и хромовых «в гармошку» сапогах, на голове — кепка-восьмиклинка или тюбетейка-

аракчинка. Девушки наряжались в креп-жоржетовые и крепдешиновые платья-шестиклинки, шёлковый платок на плечах. Заливисто наяривала гармошка, над танцующими, освещёнными качающимся светом электролампы, водоворотами вились комары, а с недалёкой болотины к веселью подключался оглушительный хор лягушек. Копайская ребятня озоровала: нарвут крапивы и норовят обжечь девчатам ноги. Кое-кому кавалеры надирали за это уши, но мы не унимались.

От околицы Копая до консервзавода метров сто открытого пространства. Сейчас оно застроено, а тогда здесь были заросли боярышника, к старице простирался пустырь, а на берегу стояла водонасосная станция железнодорожного ведомства. Станцию охраняли солдаты, и пустырь использовался ими как стрельбище. Между тем люди ходили по импровизированному стрельбищу, и только во время огневой подготовки солдат выставлялось оцепление. Однажды осенью, когда поспела любимая мной восковая боярка, я отправился в околок, залез на дерево и стал собирать ягоды. И вдруг началась стрельба. Я вышел из чащи и был обнаружен оцеплением. — Ложись! Ложись!.. — заорали служивые, но я испугался и убежал от них в заросли.

Эти заросли боярышника казались мне лесом, полным всяких опасностей, когда я поздним вечером возвращался из школы после третьей смены. Однажды зимой я шёл по затвердевшим от мороза сугробам домой, всю округу наполнял тревожный и колеблющийся свет полной луны, звуки музыки и речи. Мощный радиоколокол на заводоуправлении транслировал шекспировскую «Леди Макбет». В этом театре я был единственным зрителем и слушателем. Вошёл в околок, кусты боярышника отбрасывали на снег фантастические тени, похожие на чудищ, а от заводоуправления разносились завывания и хохот шекспировских ведьм. От ужаса, охватившего меня, я присел на корточки и зажмурился. Вывел меня из оцепенения голос Мамки Старой, которая вышла меня встречать.

Ещё в 1953 году отходить далеко от дома было опасно: в войну расплодилась уйма волков, бывали случаи, когда они нападали на одиноких путников. Помню, рассказывали о женщине, которая ночью шла домой, и волки её сожрали, осталась только часть ног в валенках. Кроме волков, даже опаснее их, было много одичавших собак. Охотники говорили, что на людей чаще нападают одичавшие собаки, у них нет страха перед человеком. Во всяком случае, я неоднократно видел возле своей землянки и на занесённой снегом крыше крупные следы, но волчьи или собачьи сказать не могу.

На задах у нас была большая лужа, даже скорее нечто вроде

пруда. Неподалеку стоял, как мне тогда казалось, большой насыпной дом. Жил в нём старик, сухопарый и всегда молчаливый. И вот однажды Мамка Старая привезла откуда-то дрова, толстенные лесины, сгрузила возле землянки и пошла обедать. Возле навала брёвен появился дед, ходил, постукивал по ним палочкой-батожком, покуривал самосад. Когда Мамка Старая вышла из землянки, он попросил её обменять толстенное сосновое бревно на колотые дрова. Ударили по рукам. Вскоре дед с внучатами перетаскали к нам в сарайку берёзовые поленья, а бревно дед каким-то образом доставил к своему дому. Там его и установил на слегах перед палисадником. Вскоре он начал над ним трудиться. Сначала ошкурил, потом начал сверху долбить. Меня очень заинтересовало, что там дедуля делает. Но кого спросить? Так и не узнал до случая. На следующий год из бревна стало вырисовываться что-то, похожее на лодку. А вода-то рядом. И вот как-то мы, ребятня, стащили эту лодку в пруд. Но поплавать нам не удалось. Из дома с ружьём выскочил дед, пальнул в воздух и стал так страшно орать, что мы попрыгали в воду и кинулись к берегу, благо, что воды было по пояс, да грязи на дне по щиколотку. Так задами, задами, прячась в картофельной ботве, и прыснули по своим землянкам. А старшие только посмеивались и качали головами: «Ну, орда! Спёрли у деда домовину, ну, орда!..». Где-то зимой дед лёг в свою домовину навсегда.

За тем же прудом был небольшой околок боярышника. Туда мы совершали набеги за бояркой, крупными, в основном, красными, иногда жёлтыми ягодами, имевшими сладковатотерпкий вкус. А только наступала зима, в околок прилетали снегири, которых мы называли «мясниками». Державин в своих стихах определил звуки, издаваемые снегирями, как «песнь военну», ну что ж, может быть и верно, снегири издают поскрипывающие звуки, но слышать их мне доводилось только весной, когда они откочёвывают на север.

Снегири — большие любители мяса. На этом и строилась охота. Брался ящик с прибитыми к крышке и стенке ящика с одной стороны ремешками, чтобы крышка свободно открывалась и закрывалась. Далее выстрагивались палочка и ложечка. Крышку приоткрывали, на край клали конец ложечки, на ложечку вертикально устанавливали палочку, а на неё осторожно опускали крышку. На другой, более широкий конец ложечки, помещали небольшой кусочек мяса. Ловушка насторожена. По прилёту снегири очень активны, так и шныряют в зарослях боярки. И вот один из любопытных клюёт на приманку, ящик хлопает крышкой. Всё закончено.

Других птиц я не ловил. Снегирей ловил, когда мне и десяти

лет не было, но никакой охотничьей страсти не почувствовал. Поймаю и выпущу. В клетке их содержать — пустое дело. Снегирь очень красив, наряден, представителен только на воле, на пушистой от снега ветке дерева.

Сейчас, к счастью, вывелось распространённое в моём детстве озорство — зорить птичьи гнёзда. А я был участником таких диких набегов на сорочьи и вороньи гнёзда, приносил домой яички, швырял их в стены и заборы.

У нас как-то не принято говорить на тему детской жестокости, но она существует в каждом ребёнке до определённого возраста. Что тому причина? Скорее всего, ещё не подавленные до конца воспитанием первобытные инстинкты. Вернее и скорее всего с этим справлялись религия и довольно высокое нравственное чувство, которые составляли сердцевину русской крестьянской общины с его отношением к природе, к среде обитания, как к чему-то живому и даже одушевлённому. Сейчас этих средств воспитания практически нет. Стоит ли удивляться, что подростки, а иногда и просто дети забивают насмерть случайного прохожего, вооружившись обрезками железа, камнями и палками.

Среди нас ведь тоже случались ссоры, драки, но никогда вдвоем на одного не нападали, лежачего не пинали, да и вообще всё это «махание» длилось до первой крови. Уж на что не любили слабаков, или «хлызд», но их не били! Если играли в лапту, то просто опрокидывали «хлызду» на биту спиной и катали на ней, а тот ревел от страха и унижения благим матом. А ведь его провинность заключалась в одном: он отказывался продолжать игру, а игры бывали подчас длительными и трудными. Сейчас вот редко кто вспомнит такую игру: «попа нагона». Она проста: две команды гонят «попа», что-то вроде городка, вдоль по дороге, по лугу, по лесу и дальше. Это продолжалось часами, кто отказывался, тот — «хлызда». Такие были порядки.

Часто первые зимние морозы ударяли в ту пору, когда было мало снега, и тогда все мы бежали на старицу, которая в одну ночь покрывалась сияющим ровным льдом. Тогда я надевал самую большую телогрейку, становился на коньки, и ветер нёс меня по льду, а душа сладко млела от переполнявшего душу восторга. Издали мы, в распахнутых телогрейках, походили, наверное, на движущиеся чучела, но нам было необычайно хорошо в это время, которое остаётся только с тёплой завистью вспоминать. Другой моей страстью было смотреть, лёжа на льду, в речную глубину, видеть водоросли и стаи рыб, движущихся в зеленоватом свете.

Ледок в два пальца толщиной
Скрипит и гнётся под ногой,
И трещины бегут кругами.
Над жёлтыми степными берегами
Сияет день морозный. И когда
Под светлым льдом зелёная вода,
Замерзший воздух в хрупкой корке льда
Переливаются, играют быстрым светом,
То радужно тепло, как будто летом,
Река насквозь просвечена до дна.
На дне коряга чёрная видна.
И лёгкая подлёдная волна
Чуть-чуть вокруг неё траву колышет,
И рядом щука замерла, не дышит…
Но вдруг подует ветерок колючий,
И набегут взлохмаченные тучи.
И с берега, откуда ни возьмись,
Промчит позёмка стаей белых лис.
Приятно душу освежить ознобом,
И под метелью белой, пуховой
Идти домой по молодым сугробам
С весёлой просветлённой головой.

Прекрасная неповторимая пора! Старица была для меня гораздо больше, чем просто река. Часами я сидел на её высоком берегу в зарослях полыни, смотрел на необъятные дали, и никогда мне не было скучно. В этих далях в ровном и неспешном движении облаков мне чудилось нечто зовущее, загадочное и тревожное. Точно так же я любил смотреть на звёзды и до сих пор смотрю на них, но уже реже, клонит голову книзу тяга земная, житейская.

Старица научила меня относиться к воде осторожно, не баловать с ней, сознавать опасность. Как-то осенью на моих глазах погиб соседский пацан Сало, это по-уличному, а так Соломон, из немцев. Он мчался по ветру, растопырив стёганку как парус, на коньках. Вдруг лёд под ним обломился, и он рухнул в воду, не успев даже вскрикнуть. Другой случай произошёл весной. Мы играли на протаявшем взгорке в «бить-бежать», потом кто-то предложил покататься на лодке в огромной полынье, что была возле водонасосной станции железной дороги. Лодка была алюминиевой, утлой. Мы в неё попрыгали, оттолкнулись от берега, и лодка перевернулась. Помню, кто-то истошно завопил: «Мама!..». А, может быть, я закричал сам, не помню, но нам

повезло, что края полыньи были крепкими, и все сумели выкарабкаться на лед. В машинном отделении водонасосной мотористы нас раздели и разложили одежду для сушки на горячие трубы, а самих укутали в свою верхнюю одежду. И никто из нас не простудился.

Плавать я научился лет семи. Пришло время, и я стал переплывать старицу в самом широком месте туда и обратно, но всегда вздрагивал, когда попадал в водоросли — было и страшновато и противно от прикосновения листьев к телу.

Школа стала что-то для меня значить после четвёртого класса, До этого я мало, что помню о ней. Конечно, помню первую учительницу, тех, с кем учился, но не было чего-нибудь такого, что бы запечатлелось в памяти. Судя по классным фотографиям, я был дисциплинированным и старательным учеником, хорошо учился, иначе бы не сидел на этих фотографиях рядом с учительницей, а это была по тем временам честь. Да и был я, видимо, одет лучше некоторых, на фотографиях я присутствую в белом подворотничке, чистой одежде, сытенький, толстоморденький с пухлыми полуоткрытыми губками и наивно распахнутыми глазами. Этакий грибок — боровичок!

Школа находилась от нашей землянки довольно далеко, за заводом. Это было одноэтажное длинное здание, сделанное из саманного кирпича, с печным отоплением, удобствами во дворе, примитивными спортивными сооружениями и приусадебным участком. Был 1956 год, год решительного наступления «царицы полей» кукурузы на Россию. Кукурузу вводили, как это у нас принято, принудительно. Всё это сопровождалось трескотнёй по радио и в газетах, Наша ботаничка, «тонкая как спичка, на высоких каблуках и с ботаникой в руках», то есть учительница ботаники, назначила меня главным кукурузоводом, выделила обширную грядку на пришкольном участке и семена. Не помню, что я сеял и как, но кукуруза вымахала в сажень высотой, да ещё с початками восковой зрелости. Удивительного в этом ничего не было: 1956 год был урожайным, на целине собрали столько хлеба, что не могли его подработать — толком очистить и подсушить. Так и столкнули в Иртыш тысячи тонн «загоревшегося» хлеба бульдозерами. Потом на целине начались «чёрные бури» и большого хлеба на этих пастбищных землях больше не собирали. Вбухали уйму денег в целину, а центральная Россия ещё лежала в развалинах после войны, особенно деревни…

Моя кукуруза сделала меня на один день знаменитостью районного масштаба. Где-то в начале сентября я со своей кукурузой участвовал в районном смотре достижений школьных селекционеров и получил первый приз — книжку, на первой

странице которой был изображён кукурузный початок, где каждое зерно было стилизованной поросячьей мордой. Поднимаясь за подарком и почётной грамотой, я запнулся и грохнулся посреди сцены районного дома культуры. Конечно, зрителей это позабавило.

Кстати сказать, все мои появления на сцене всегда заканчивались конфузом. В четвёртом классе меня заставили танцевать какой-то танец. На репетициях вроде всё получалось, а на сцене я растерялся, топал не в лад, шёл не в ту сторону, словом, всё перепутал и перепортил. Другой раз я что-то запевал, а на сцене пустил такого «петуха», что это поняли самые тугоухие. Но вершиной моего позора была пьеса «Мишкина каша», кажется, по Носову, где я играл главную роль. От волнения и страха перед публикой я забыл все слова роли и убежал из заводского клуба, где собрались на премьеру с полтысячи зрителей. Все эти страдания выкристаллизовались во мне в непоколебимое убеждение, что сцена и актёрство — это не для меня. И, слава Богу, что это так! В дальнейшем мне приходилось общаться с артистами, даже немалого полёта, всё это были люди с заёмным умом и недалёкого кругозора, как правило. Но ведь недаром говорят, что бог шельму метит. А иначе, как шельмой, артисту быть нельзя, а то сомнут, затопчет своя же братия.

В пятом классе начали преподавать историю древнего мира. Учителем истории у нас была весьма занимательная и темпераментная личность по фамилии Падалица. Ему удалось меня сразу заразить древностью, Грецией, Римом. На его уроках я сидел не шелохнувшись, вбирал и впитывал в себя каждое слово. Тогда-то мне, наверное, удалось прочитать книжку «На краю Ойкумены», которая открыла мне таинственный мир людей прошлого. Я стал понимать, что время — это не просто счёт минут, часов и суток, а бесконечное протяжённое пространство, что мир не оканчивается за околицей Копая, а простирается в бескрайнюю даль. Я стал читать все доступные мне книги по истории, географии, читал их с жадностью, перечитывал наиболее интересные по несколько раз. Наша заводская библиотека была довольно большой, и я в ней стал, пожалуй, самым старательным читателем.

Чтение пробуждало фантазию. Я представлял себя участником исторических событий: я был спартанцем под Фермопилами, рабом из войска Спартака, матросом в эскадре Колумба, разведчиком в отряде Пржевальского, — кем только ни был. Правда, у меня тогда появилось и другое, не менее сильное увлечение — спорт. Занимался всем, что мне было доступно. Мама выписала мне журнал «Спортивные игры», и я узнал о

ведущих футбольных командах, с замиранием сердца слушал репортажи с футбольных матчей, которые проходили в Москве. Стрельцов, Симонян, Яшин — имена, знакомые мне с детства.

Спортивные секции в школе работали, но вели их люди необразованные, в чём их упрекнуть вряд ли можно, ведь шёл всего 1956 год. Все тренировки заключались только в повторении одного и того же. Прыгуны — прыгали, бегуны — бегали, футболисты до изнеможения пинали мяч на кочковатом поле. О силовой, скоростной, тактической подготовке не могло быть и речи. Но энтузиазм, с которым мы занимались, был на высоте.

В седьмом классе учитель физкультуры и военного дела, бывший офицер-фронтовик, выдал мне малокалиберную винтовку «тозовку» и десять пачек патронов. По мысли наставника я должен был тренироваться дома, а затем выступать на соревнованиях. Конечно, сейчас подобное немыслимо. А тогда это ни у кого не вызвало протеста. Я принёс оружие и патроны домой. В погожий день вышел в огород, отмерил от стены пластяного сарая двадцать пять метров, оборудовал позицию и начал стрелять по круглой бумажной мишени. Через месяц на школьных соревнованиях по стрельбе я был четвёртым. «Тозовка» гостила у меня больше года, и стрелять я научился довольно метко.

Сейчас мало кто знает, что до войны у нас в стране не было физкультуры и спорта в современном понимании, и не потому, что мы безнадёжно отстали от других стран. Начиная с 1930 года, в стране усиленно развивались военно-прикладные виды спорта: стрельба, прыжки с парашютом, метание гранаты, радиодело. Значок «Ворошиловского стрелка» был заветной мечтой каждого молодого человека. До войны в СССР миллионы людей были обучены стрелять, сотни тысяч совершили свой первый прыжок с парашютом, то есть прошли первоначальное обучение военному делу. Всё это пригодилось на войне. Сейчас военная подготовка в школах не проводится.

Любинский район относился к числу «безводных», то есть команду по плаванию на областную спартакиаду школьников мог не выставлять, но всё-таки за счёт нашей школы набирал какое-то количество пловцов. У нас была старица, из которой мы не вылазили всё лето. Купаться мы начинали ранней весной в ледяной воде, из которой выскакивали, как ошпаренные, и долго стучали зубами, подставляя то одну сторону тела, то другую к загодя разведённому костру. И ни одна лихоманка нас не брала!

Не знаю, был ли в Омске в 1956 году закрытый плавательный бассейн, но мы соревновались на открытой воде в бетонном водоёме. Я плыл на спине пятьдесят метров, получил диплом за третье место. Некоторые из наших стали чемпионами, а в целом

команда «безводного» района стала победителем соревнований. В 1961 году, учась в техническом училище, я участвовал во Всероссийской зимней олимпиаде школьников по восьмиборью в Ленинграде, даже был зачислен кандидатом в сборную России, но в основной состав не попал. Омск тогда был спортивной провинцией, спортзалов было очень мало, это в дальнейшем в этом городе появились борцы, велосипедисты мирового уровня.

Директор молочно-консервного завода сделал и ребятне, и взрослым умный подарок: на старице организовали лодочную станцию. Лодки можно было брать напрокат, час стоил тогдашними сталинскими деньгами один рубль, а хрущёвскими — десять копеек. Я часто брал один, а чаще с друзьями, лодку часа на четыре, которые мы проводили в купании и гребле наперегонки. Последний раз я был на консервзаводе в 1991 году, как раз в дни пресловутого путча. Лодочная станция была открыта, но желающих покататься не было. Видимо, все жители присосались к телевизору, и большинство из них радовалось тому, что скоро они будут свободными и богатыми.

Где-то, кажется, в 1956 году на консервзавод после окончания института приехал инженер-технолог, борец-классик, по-моему, даже чемпион России. Он так и остался на консервзаводе, когда я там был в начале 80-х годов, он работал главным инженером. Сразу по приезду ему удалось организовать борцовскую секцию. Матов, помещения, естественно, не было, занимались борцы на улице в яме с опилками. Мы, отыграв в футбол, смотрели на их тренировки. Запомнилось, как приезжий борец поставил своих учеников возле перекладины и заставил подтягиваться. У нас в десятом классе учился Козлов, здоровенная орясина, которого мы считали самым сильным в школе. Так вот, он не подтянулся ни разу. Это было низвержение кумира. В коридоре школы у нас стояли брусья, и я уже кое-что, например, подъём разгибом мог делать. А тут парень под центнер весом висит варёной колбасой.

У меня так всегда складывалось в жизни, что все мои приятели были старше меня лет на пять. Началось это в школе. В седьмом классе я подружился с десятиклассниками Толей Луниным и Сашей Сутыриным. Саша был немцем, жил тоже в Копае, а Толя — в бараке возле завода. Это были очень хорошие и умные ребята. Много читали, к чему-то стремились. Толя Лунин стал офицером — ракетчиком. Сашу Сутырина я встретил в Берегово, в Закарпатье, где он служил в разведбате. Эти ребята уже тогда думали о своей стране. Конечно, наши суждения были наивны, но главное заключалось в том, что мы думали и говорили о том, о чём старшие не привыкли думать и говорить.

Наступало другое время, которое назовут «оттепелью» те,

кому Россия была всегда не по их чёрной и продажной душе.

Между тем, в седьмом классе я учился кое-как, через пень — колоду, на уроках томился и пялился на Томку Казанцеву, которая вдруг показалась мне невиданной красавицей. Да, это был уже седьмой класс, и большинство из нас вдруг обнаружило, что мы уже не дети и принадлежим к различным полюсам, между которыми порой вспыхивают искры, обжигающие сердце. Вот и я почему-то влюбился в Томку, которая, через три года встреченная мной в Омске в трамвае, показалась мне ужасно некрасивой. На моё счастье она меня возненавидела. А за что?.. Наверное, за то, что я на уроках «гипнотизировал» её взглядом, а подойти не посмел. Свои чувства она выразила на собрании, когда меня принимали в комсомол. Встала и заявила, что я «не достоин носить высокое звание… и т. д.». Что конкретно она говорила, не помню, но меня не приняли, и я так и не побывал в славных рядах молодых строителей коммунизма, хотя строил его, не щадя сил.

Вряд ли стоит описывать, что я испытывал в сексуальном плане в период своего возмужания. На эту тему написано более, чем достаточно, любителями поковыряться в подсознании. Вот на днях прочитал автобиографию лорда Рассела, тот, несмотря на свой аристократизм, тоже не удержался и развил какую-то сырость вокруг секса. Конечно, эти вопросы когда-то и для меня были значительными, но стоит ли о них говорить?.. Другое дело, если бы я тогда вёл что-то вроде дневника, записывал, а сейчас всё ушло, стёрлось, отгорело. Могу сказать только одно, что в отношениях с женщиной секс для меня никогда не играл ведущей роли, духовная взаимосвязь для меня всегда была важнее, а секс всего лишь скреплял или завершал возникшее чувство. Может быть, я говорю об этом путано, однако так оно и было.

А вот перед одной девочкой — Галей Казанцевой, поразительно красивой девочкой с лицом ангельской чистоты — мне стыдно до сих пор. Она была хромоножкой, а тут ещё заболела тифом, а когда появилась после болезни в классе, голова у неё была повязана белым платком. По какой-то глупости я сдёрнул платок, и все увидели её стриженную наголо голову. Галя тихо и страдальчески заплакала. Прошло более полувека, а я всё не могу простить себе свою шалость, тем более, что Галя умерла молодой.

В семидесятых годах я приехал в консервзавод, и моя двоюродная сестра Валя сказала, что умерла Нина Кулишкина, моя одноклассница. Перед смертью они с Валей встретились, конечно, случайно, и Нина спрашивала обо мне. Я приехал в Ульяновск и на глаза мне попался старый стеклянный графинчик, который Нина подарила мне в седьмом классе, и я понял, что она

меня любила.

А графинчик через какое-то время разбился…

На Кирпичиках, политические

Между тем в моей жизни назревали важные перемены, которые оказали большое влияние на мою судьбу. В 1956 году мы с мамой остались в землянке одни. Мамка Старая, Валя с Гошей переехали в Омск на кирпичный завод к тёте Дусе, куда уже перебрались из Прокопьевска тётя Шура с Лёней и Валя Рязанова, моя младшая тётка. Все они получили комнаты в бараках, работали на 1-ом кирпичном заводе обжигальщицами кирпича, хорошо зарабатывали и звали к себе маму и меня.

Летом 1958 года я закончил восемь классов, часто ездил на соревнования по волейболу, где выступал за районную команду. Мне, конечно, тоже хотелось в Омск, но вряд ли мы поступили правильно, переехав туда. Мне нужно было сначала окончить среднюю школу, определиться, в какой поступать институт, но этого не случилось, поэтому жалеть об этом бесполезно. И, вообще, я считаю, что судьба всё-таки существует, и человеку заранее указана дорога, которой он следует всю свою жизнь. Только вот — кем указана?..

В 1956 году лагерь политзаключённых на 1-м кирпичном заводе был закрыт. Всех зэков выпустили на волю, только кое-кому, например, эсэсовцам из прибалтов был выезд на родину запрещён. Бывшие охранники, бывшие зэки стали работать на заводе, жить по соседству в тех же зэковских бараках, которые были разгорожены на комнаты, где установили печки, а рядом с бараками построили сараи для хранения дров и угля.

Эта перестройка разворачивалась на моих глазах летом 1956 года, когда я часто бывал в Омске. Когда в лагере жили зэки, он был чистым, ухоженным, с клумбами цветов, гипсовыми скульптурами, но «вольняшки», вломившись в него, всю эту лагерную благодать моментально затоптали и изгадили. Возле бараков выросли горы мусора, обильно заливаемые помоями, которые никто не убирал, скульптуры разбили, всякие там прибамбасы, вроде фонтанчиков, исковеркали.

Сейчас, когда по телевизору показывают престарелых, но ещё крепких на вид бандеровцев из Западной Украины, эсэсовцев из Латвии и Эстонии, я пристально вглядываюсь в экран: а вдруг мелькнёт знакомое лицо, ведь я видел их достаточно, жил с ними, работал, когда эту публику выпустили из лагеря.

В 1959 году мне исполнилось шестнадцать лет, и я устроился в формовочный цех откатчиком. Откатчик откатывает вагонетки с сырым кирпичом на лафет для перевозки их в сушильные камеры. За смену приходилось откатывать 20–30 тысяч штук кирпича.

На другом прессе в мою смену работал откатчиком эстонец Альберт, спокойный мужик, бывший зэк. Мы с ним первыми после работы уходили мыться в душе, и где-то, через неделю я заметил на теле Альберта странные наколки. «Что это?» — спросил я. — «Это?.. Это я немножко в эсэс служил».

Я опешил, а Альберт, насвистывая весёлый мотивчик, вышел из душевой в раздевалку.

И надо же такому случиться! Я как раз в эти дни читал только что изданный сборник документов «СС» в действии», где подробно излагались все злодеяния эсэсовцев. И вот эсэсовец передо мной — мой соратник по откатке кирпичей, добродушный мужик Альберт, от которого я грубого слова не слыхивал. Позднее я узнал, что эсэсовцы воспитывались в духе презрительного равнодушия ко всем, кто не принадлежал к их кровавому ордену. Это была своеобразная изуверская религия нацизма, считавшая всех людей, кроме арийцев, недочеловеками.

Альберта освободили, но не реабилитировали. Поэтому, наверно, он не спешил уезжать домой.

Вскоре у меня сломались наручные часы, и мне подсказали, что слесарь Саша Воробьёв может помочь моей беде. После работы пошёл к нему в барак. Саша был холостяком, но комнату содержал в чистоте. Он взялся отремонтировать часы, но когда я пришёл за ними через неделю, моих часов у Саши не было.

— Я их сделал, но отдал знакомому, ему в командировку надо было ехать, — виновато сказал он и выставил на стол бутылку водки.

Что делать? Мы выпили, и Саша Воробьёв поведал о своей жизни. Наверное, наученный тем, что каждое слово нужно подтверждать доказательствами, он достал из чемодана документы о своей полной реабилитации.

— Меня призвали в июле 1941 года. Я тогда жил на Украине, окончил одесский кинотехникум. Я и не воевал даже. Прямо на марше, после бомбежки, на толпу необстрелянных солдат навалились танки и пехота немцев. Загнали нас за колючую проволоку посреди степи. Жара. Воды не дают, еды не дают. Держали на таком пайке недели две. Не поверишь, всю траву съели, за место у лужи дрались… Потом приехали какие-то немцы, а с ними русские. Построили тех, кого смогли пинками поднять. Объявили, что желающие послужить фюреру должны выйти из строя. Из первой шеренги вышло несколько человек, остальных пристрелили. Дошла очередь и до нас. Честно говоря, я не помню, как вышел из строя. Может, сам шагнул, может, подтолкнули, но так получилось, что через месяц я оказался в одной деревушке на Гомельщине. На уборке урожая. Стал чем-то

вроде надзирателя над колхозниками, которые должны были убрать урожай и сдать немцам. Определили на постой к тётке, а та волком на меня смотрит, боюсь — задушит ночью. А она порядочной оказалась. Раз смотрела, смотрела на меня и спросила: «А ты хочешь, солдатик, на моих воротах в петле болтаться, когда наши придут?..» Я молчу, куда мне бежать, немцы под Москвой.

«И я не хочу, — говорит тётка, — чтобы ты мои ворота поганил». Отвела меня к партизанам. Затем, когда наши подошли, забрали в действующую армию. Два раза ранен. Орден имею, медали. Демобилизовался и героем покатил домой. Достали меня в 1947 году, взяли ночью и, как всем, четвертак сроку, плюс пять лет ссылки, пять — поражение в гражданских правах, как тогда говорили: «получил пять — по зубам и пять — по рогам».

Сейчас, когда Саши Воробьёва нет в живых, — он всю жизнь проработал слесарем и умер где-то в начале 1980-х годов на всё том же 1-ом кирпичном заводе, — я могу сказать, что всю его жизнь определил шаг, который он сделал смертельно голодный, находящийся на грани умопомешательства в немецком фильтрационном лагере. Не сделай он его, значился бы в списках пропавших без вести. Он его сделал и мучился всю жизнь, но осуждать его за это я не решусь.

А вот об одном бывшем зэке, слесаре нашего формовочного цеха Аккермане сказать следует особо. Помнится, мы вышли в первую смену, и в цеху царил переполох. Оказывается, ночью органы госбезопасности арестовали слесаря Аккермана. Но об этом наши начальники не знали, думали, что передовика производства, чей портрет красовался на Доске Почёта, замела милиция. Это было в 1961 году, когда во всей стране шла компания по взятию преступников на поруки. Спешно провели цеховое собрание, написали нужную бумагу, и парторг и мастер цеха Колычева поехала решать судьбу Аккермана. Вернулась она к концу первой смены, бледная, с вытаращенными глазами. В КГБ ей, видимо, прочистили мозги, и единственное, что она произнесла, было: «Аккерман — военный преступник!..»

В начале 1960-х годов в Краснодаре проходил крупный процесс изменников Родины, повинных в истреблении сотен тысяч советских граждан. Наш тишайший передовик производства слесарь Аккерман оказался штатным переводчиком эсэсовской зондеркоманды. Эти гады в «душегубках» уничтожили тысячи и тысячи детей, которые находились на лечении в санаториях и не были своевременно эвакуированы.

Литературно-публицистический отчёт об этом процессе

опубликовал Лев Гинзбург в журнале «Знамя» («Бездна»).

В политические преступники попадали и малолетки. Мой сосед по бараку Юзек получил срок, когда ему едва минуло пятнадцать лет. Юзек жил в деревне на польской границе, пас скотину, и вот однажды бандиты послали его с запиской в деревню. В доме была чекистская засада. Юзека повязали, допросили, осудили на десять лет и отправили в омский лагерь. В лагере Юзек вымахал в двухметрового детину, научился читать и писать, освоил слесарное ремесло. Его, конечно, полностью реабилитировали, он получил жилплощадь в бараке, купил мотоцикл «Харлей», полностью оделся в кожу: фуражка, гимнастёрка, галифе, сапоги, пальто, — стал «первым парнем» на посёлке, куда из деревень понаехало много девчат.

Мы с Юзеком однажды поехали в центр города, он решил подарить своей зазнобе блестящие резиновые сапоги — последний писк тогдашней моды. До промтоварного магазина мы не дошли. Юзек в первую очередь завёл меня в распивочную, где были установлены автоматы для розлива вина, накупил пригоршню жетонов и закуролесил. Я тогда не пил, а Юзек шарахнул стаканов десять портвейна, налил ещё и провозгласил тост:

— Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..

В распивочной воцарилось недоброе молчание. Я сгрёб со стола оставшиеся жетоны в карман и изо всех сил стал выталкивать Юзека на улицу. На пороге он ещё раз проорал здравницу фюреру. Время от времени Юзек выкрикивал этот антиобщественный лозунг и в трамвае, и автобусе, пока мы добирались до посёлка.

Утром я пришёл к нему домой. Юзек жадно пил воду. Выслушав моё повествование о вчерашних событиях, он тяжело вздохнул.

— В начале войны в нашу деревню назначили полусумасшедшего коменданта. Немец был большим любителем военных маршей и шнапса. Напьётся и собирает всех жителей перед комендатурой. Сначала речугу толкнёт, а потом заставлял всех хором орать: «Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..». А мы, пацаны, как засвистим. Немцы, полицаи похватали тех, кто не успел удрать. Я, хоть и не свистел, тоже попался. Меня били шомполом, а я через каждые два удара орал: «Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..» До полусмерти забили. Запомнил я эту науку глубоко. Сейчас у пьяного иногда наружу выскакивает…

Ещё до революции отец Николая Литвинова, слесаря нашей формовки, переехал на жительство в Харбин, тогда совсем русский город, столицу принадлежавшей России, а затем СССР

китайской восточной железной дороги.

Отец Николая работал кузнецом в железнодорожных мастерских, завёл семью, имел советское гражданство. В 1935 году КВЖД была уступлена Маньчжоу-Го, а фактически — японцам, которые оккупировали город. Николай родился в 1932 году, учился в русской средней школе и одновременно занимался в японском аэроклубе. После разгрома Японии всех русских выселили на Родину. Кузнец Литвинов с семьёй поселился в Хабаровске, где Николай возобновил занятия в школе и местном аэроклубе.

В кругу начинающих лётчиков велись жаркие и, как оказалось, смертельно опасные разговоры. И Николая арестовали. По его рассказам, его не пытали, а поместили в одиночку, напоминающую гостиничный номер. В коридоре тюрьмы были даже ковровые дорожки. Тем не менее, трибунал приговорил Литвинова к десяти годам лагерей. Обвинение было нелепым, но вполне укладывалось в законные рамки. Оказывается, в своём кругу молодые авиаторы обсуждали достоинства американских самолётов и пришли к выводу, что они лучше наших. Николай в разговор не вступал, но не донёс о «вражеской вылазке» властям. За это и схлопотал «червонец».

Я тогда не знал, что есть люди, искалеченные страхом. И вот мы с приятелем по работе Володей Волынкиным решили подшутить над Николаем. Завели разговор о кружке единомышленников не понятно чего, намекали на сохранение тайны, словом, несли ахинею. Но как побледнел Николай, как он бросился от нас бежать! Лагерь ему обломал крылья, убил мечту, искалечил душу. Впоследствии я написал об этом большое стихотворение.

Крылья

(1958, полевой аэродром на северной окраине Омска)

— Вставай!
В углу рыдала мать.
Стоял отец, угрюм и бледен.
Начался шмон.
А что искать?..
Я был для родины безвреден.
Я бредил небом в те года.
Меня все прочили в пилоты.
Но в это утро навсегда

Мои закончились полёты.
— Ошибка, может быть? —
Отец
Спросил у них, слова ломая.
Ответ ударил, как свинец:
— У нас ошибок не бывает!
Что был им я, слепой щенок,
Влюблённый в асов и поэтов?
Меня толкнули в «воронок»,
Ткнув под лопатку пистолетом.
Я в сумрак мёртвый и седой
Был запечатан одиночки…
Смотри! Смотри! Опять седьмой
Без подготовки крутит «бочки»!

Я посмотрел:
Над головой
Набито было небо громом,
И «Як» серебряной стрелой,
Крутясь, шёл над аэродромом.
Мы восседали на бугре.
Дымилась степь полынной пылью.
И друг завидовал игре
Паривших над землёю крыльев.
— В аэроклубе прежних дней
Был у меня приятель Вовик.
И он сказал в кругу друзей,
Что выше всех летает «Боинг».
Так он врагом народа стал.
И мне нашли судьбу под солнцем.
Как малолетку трибунал
Меня пометил лишь «червонцем».

Мы шли по полю.
Жар земли
Смешался с пыльной сушью всходов.
Бурьяна стебли проросли
В ржавь отлетавших самолётов.
Бригада молодых парней
Металлолом грузила краном.
Трава трещала.
От корней
Зияли на суглинке раны.
И запах, стойкий и густой,

Струился богородской травки.

— А мне, с изломанной судьбой,
Уж не поможет переплавка.
Я — вторсырьё эпохи зла.
Машиной страха и насилья
По мне история прошла
И отдавила напрочь крылья…

День жарко выгорал, отцвёл.
Настал вечерний час покоя.
И золотые капли пчёл
Текли, звеня, сквозь стену зноя.
Земля устала ждать грозу.
Взрывался пухом одуванчик.
Держа за крылья стрекозу,
Навстречу шёл весёлый мальчик.
Он шёл и не глядел на нас,
Ступая по земле горячей.
О, как он рад был в этот час
Своей охотничьей удаче!
В глазах улыбчивая синь.
Струилась чёлка золотая.
И пахла горечью полынь,
До слёз мне горло обжигая.

Что ни говори, а при Сталине жизнь у людей была как у пассажиров трамвая: половина сидела, а другая половина тряслась. Это не я, а народ так горько шутил.

Видел я и полицаев на шахте в Прокопьевске. Через много лет написал об этом стихотворение.

На Кирпичиках, продолжение

В конце июля 1958 года мама продала землянку, и мы переехали на кирпичный завод № 1 города Омска. Комнату нам выделили, мама устроилась на работу сушильщицей кирпича, а вот с пропиской была морока. Прописалась мама только осенью и то после того, как тётки выкопали картошку на фазенде начальника райотдела милиции. Этот блат устроил нам его шофёр, какой-то дальний родственник по Усть-Шишу.

Это сейчас кирпичный завод воткнулся одним боком в северную окраину Омска, а тогда это был совершенно автономный посёлок в пяти километрах от города, который заканчивался на кольце третьего маршрута трамвая, на 11-й Ремесленной. Автобусы практически не ходили, до города добирались кто на чём. Школы не было, учеников моего возраста тоже, и меня одного возили в школу № 20 на 3-ю Ремесленную. Проучился я там полгода и перешёл в школу рабочей молодёжи, где директорствовал примечательный человек Тимофей Меркурьевич Панасенков. Это был подвижник и бессребреник, получивший образование в гимназии, затем приобретший профессию педагога. Он был членом КПСС с 1924 года, то есть был коммунистом Ленинского призыва. Я впоследствии посвятил ему стихотворение, он уже перед своей смертью прочитал его на партсобрании. Я отдал ему свой долг за его доброту и порядочность цельного человека, каких уже тогда почти не было, а сейчас тем более. Сейчас мы все испортились вдрызг, и неизвестно, соберется ли человек в цельность, видимо, уже нет.

Тимофей Меркурьевич преподавал историю, и мы с ним сошлись в этом увлечении. Я, конечно, горячился, нес всякую ерунду, а он мудро давал мне выговориться, по-хорошему завидуя моей молодости и горячности…

Урок истории

Тимофей Меркурьич Панасенков
Был директором ШРМ.
Нас учил, кочегаров, откатчиков,
Он — знаток исторических тем.

Мы зимою глядим, бывало,
Как упрямо сквозь вьюжный свист
Наш Меркурьич идёт по шпалам

В куртке кожаной, как чекист.

Наломавшись за смену, тяжёлые,
Приходили мы вечером в класс.
И директор вечерней школы
Вёл в глубины истории нас.

Тимофей Меркурьич!.. Едва ли
Тогда я вникал в вашу речь.
Рано утром меня ожидали
Вагонетка, лопата и печь.

Был кирпич, раскалённый и рыжий,
Поважней, чем Тацита труды.
А лафетчица — краше Мнишек.
Сменный мастер — мудрей Калиты.

…Не истории пороховые,
А совсем другие, печные,
Раскалённые погреба
Мне тогда открывала судьба.

«Вытягивай на золотую медаль» — говорил он мне. Но куда там! Я взрослел, я куда-то бежал, торопился, суетился, это мешало мне сосредоточиться, хотя бы на миг, взглянуть на себя со стороны. Меня как щепку по бурной воде, влекло за собой течение времени. Это от характера, а он, как говорят мудрые люди, судьба человека. Так вышло и со мной.

Вот эти-то лишние силы долго-долго мешали мне понять самого себя.

Лагерь ликвидировали, и на кирпичный завод хлынула молодёжь из села, те, кому стали выдавать паспорта. Они бежали из опостылевших деревень в город и попадали к нам, потому что здесь давали койку в общежитии и городскую прописку.

Наводить порядок на заводе и в жилом посёлке начал директор Штепа. Это был жёсткий и властный руководитель сталинского закваса. Ему как-то удалось сразу завоевать непререкаемый авторитет среди рабочих. Наверно, потому, что всегда держал слово, а это вызывало уважение. Завод резко увеличил производство продукции. В год «выпекалось» более ста миллионов штук кирпича. Всё это уходило на стройки Омска, а в нашем барачном посёлке первую пятиэтажку построили только в 1969 году.

Тогда, в 1959 году, в Омске родилась пропагандистская ахинея, что наш город занимает первое место в СССР по озеленению. Штепа заставил всех жителей посёлка взяться за лопаты, сажать тополя. Через несколько лет тополя разрослись, кривобокие бараки и сараюшки были надёжно замаскированы.

Шестнадцатый год жизни был для меня мучительным, и тому была своя причина. Я как-то сразу вымахал в здоровенного парня, торопился примкнуть к кругу взрослых людей, хотел зарабатывать деньги, жить самостоятельно, но мои года меня стреноживали, а я спешил, спешил… Куда?..

В это время (конец 50-х годов) был принят с благими намерениями совершенно дурацкий закон, запрещающий брать на работу тех, кто не достиг восемнадцати лет. Предполагалось, что молодёжь должна учиться, приобретать специальность. Но не все же имели способности и желание учиться. Нет, учись! Учителя натягивали оценки, смотрели сквозь пальцы на шалости и хулиганство учеников, тянули в образование всех подряд. И, как следствие, школа утратила свой престиж, авторитет школы и учителей упал и так и не поднялся. Конечно, намерения у власти были самые благие. Прошло тринадцать лет после войны, после страшной разрухи, и всем стало доступно среднее образование. Вот эта доступность почему-то переросла в приказную норму, а этого делать было не надо. Школу обязали притворяться, что она выпускает людей со средним образованием. Но сколько из неё вышло полнейших остолопов и остолопш!

Наконец-то кирпичный завод соединили асфальтом с городом. А ведь до 1958 года дорога до 11-ой Ремесленной представляла собой разбитую колею, на рытвинах и ухабах которой ломались машины и перевозимый ими кирпич. Потери были ужасные. Но провели асфальт не для кирпичного завода, а для стройки, которая разворачивалась за ним. Это — военный объект, который строили солдаты (сейчас посёлок Степной и бетонный завод). Автобус ходил до кинотеатра «Художественный», город стал мне ближе и доступнее.

В это время пришёл из армии и поселился в комнате напротив нашей Боря Харитонов. Пятилетняя разница в возрасте не стала помехой нашей дружбы. Он работал на заводе слесарем, затем его избрали освобождённым секретарём комсомольской организации завода. Это был житейски умный, весёлый и общительный парень. Через пять лет он уже был мастером на заводе кислородного машиностроения, позже — начальником цеха и начальником производства, хотя закончил всего лишь техникум.

Боря не читал книг, зато мастерски играл на гитаре и имел

приличный голос. В конце 50-х годов до нашего захолустья ещё не дошли кассетные магнитофоны, многие увлекались гитарой и пели. Это было время возрождения Сергея Есенина из небытия. Вышли после тридцатилетнего перерыва его книги, и для русского человека его стихи стали желанным откровением. Все поэты, лелеемые Сталиным, с появлением стихов Есенина стали неинтересны. Это было второе пришествие поэта всей России. В 1920-х годах его знала только городская публика, а теперь — вся страна. Не только знала его стихи, но и пела, утверждая его как народного поэта.

Где-то там, в Москве начинали создавать свои дутые поэтические биографии Е. Евтушенко и А. Вознесенский, нашёптывал свои песенки под гитару Б.Окуджава, а у нас в глубине Сибири читали и пели Есенина.

Сейчас я расцениваю это время как рубеж, переступив который, Россия стала нищать духом. С одной стороны, Хрущёв много сделал для реанимирования бреда марксизма-ленинизма с его безбожием, с другой — появились и быстро размножились в творческой и академической среде «люди-трихины» (Ф. Достоевский) типа физика А.Сахарова и писателя А. Кузнецова. Число их множилось, из каждого окна завопил В. Высоцкий. О нём могу сказать одно: люди, которые читают Есенина, это народ, а Высоцкий — это идол массы, сборища людей, оторванных от отеческой почвы, тех, кто в 1991 году согласились с разрушением России. Нужно, конечно, верить в духовные силы народа, но и закрывать глаза на очевидные факты не стоит.

Как-то умный и образованный (среди современных поэтов это редкость) Борис Примеров мне рассказал, как он встречался с героями Даманского. И автор музыки песни «На безымянной высоте» спросил пограничника, какая мелодия пришла ему на ум, когда он отбивался от наседавших китайских солдат. Композитор явно хотел услышать, что это была его песня, и все это поняли. А солдат сказал правду: «Степь да степь кругом…».

Мама работала на сушке кирпичей, там была большая загазованность и уйма пыли. У неё стала прогрессировать бронхиальная астма, она часто болела, подолгу лежала в больнице, поправлялась кое-как и шла опять в газ и пыль кирпичного завода. А я тем временем вынужден был бить баклуши, слоняться по посёлку днём и вечером, читать книги. Впереди меня ждали два года такого мучения.

Мне повезло, что в посёлке не было хулиганов в современном смысле этого слова. Не было и помину о наркотиках, мордобое и воровстве. Двери комнат в бараках почти не запирались, да и взять в них было нечего. Мебель была, как правило, самодельной,

одежда — самой дешёвой, словом, ни ковров, ни хрусталя, ни телерадиоаппаратуры жители не имели, так что и тащить было нечего.

По вечерам ходили в кино, по выходным молодёжь собиралась на танцплощадке. Это было время полузапрещённого «Мишки», под который танцевали фокстрот. После фестиваля молодёжи в Москве в 1957 году появились первые «стиляги», так называли власти и обыватели тех, кто стал носить причёски с коком, разноцветные рубашки, узкие брюки, однотонные цветные носки и туфли на толстой подошве. У нас «стиляг» не было, да и откуда им было взяться, все работали, а «кирпичики» выматывали жилы даже у самых крепких парней.

Наш барак стоял рядом с общежитиями. Я познакомился с ребятами и стал туда ходить. Летом мы играли в футбол и волейбол, а зимой собирались в примитивном спортзале, где играли в теннис и таскали штангу.

В 1959 году я познакомился с Антоном Селюном, между нами завязалась горячая дружба. Антон ушёл с первого курса сельхозинститута, но мечту о высшем образовании не оставил, поступил на заочное обучение в планово-экономический институт. Антон увлекался философией, и с его подачи я стал читать Фейербаха, Гегеля, конечно, ни черта не понимая, но азартно. В это время много говорили о культе личности, но ещё больше о том, что нас ждёт неизбежное светлое будущее. А как же иначе! Запустили первый спутник и все, буквально все, высыпали вечерами из бараков, чтобы посмотреть на крохотную звёздочку, которая двигалась по небу. У всех было чувство гордости за наш спутник, за то, что мы впереди, и это так и было, планеты всей.

Первый спутник

В цеху дышали грузно прессы.
По брусу глины бил смычок.
В том царстве глины и железа
Я был первейший звездочёт.

Он вспыхнул в небе — тих и робок,
Пересекая наш завод.
Из душных цеховых коробок
На волю повалил народ.

Шумели люди, точно гуси,
И все смотрели вверх, туда,

Где звонко над рабочей Русью
Плыла рабочая звезда!

Зиму и весну 1959 года я провёл в тревожном ожидании, считая дни до своего шестнадцатилетия. Второго июня я получил «серпастый и молоткастый» советский паспорт, и на следующий день переступил порог отдела кадров кирпичного завода. Бывший начальник режима лагеря политзаключённых Просеков прекрасно знал моих родных и поэтому «не заметил» моего малолетства и подписал заявление.

Узнав, что устроился на работу, мама всплакнула. Она поняла, что я стал взрослым и начинаю уходить от неё в свою жизнь. А это — новые для неё тревоги и надежды. Сам я ощущал праздничный настрой, всё в жизни меня радовало, я верил, что впереди меня ждёт светлое будущее. Но не я один так думал в то время. Страна была на подъёме, восторженнонаивное настроение было тогда практически у всего нашего поколения детей войны.

Все мы — бумажные кораблики

Я прожил жизнь, не часто оглядываясь назад и не слишком пристально вглядываясь вперёд. Я просто жил, не слишком серьёзно и не слишком легкомысленно, переступил через семидесятилетнюю ступеньку и только тогда понял, что следующая годовщина мне будет не в радость.

Но сердцу хочется праздника. Так пусть он будет каждый день! Ах, если бы я раньше подумал об этом: ведь я уже прожил больше двадцати пяти тысяч дней и отпраздновал из них только семьдесят. Ну, не растяпа ли я после этого?..

Старость для меня ценна тем, что я научился чувствовать и ценить время, стал ощущать его трепещущую плоть, когда она сосредоточилась на пишущем шарике ручки, помимо моей воли катясь по бумаге, то и дело, опережая мысль, и запечатлевая её раньше, чем я проговаривал про себя стихотворную строчку. Я прочитывал её вслух и прислушивался к звучанию слов, затем нанизывал на неё новую строку, пока не являлось всё стихотворение. Несколько уточняющих и охорашивающих вычёркиваний, и я отпускал свой стих в свободное плаванье как ещё один бумажный кораблик, спущенный со стапелей стихотворной верфи. И провожали его не орудийный салют и брызги шампанского, а мой вздох облегчения.

Часто бывало, что, отплыв, мой стихотворный кораблик тонул в шквале критики, разбивался на рифах злобной зависти, так что и у меня есть своё кладбище погибших стихотворных корабликов, которые захламили объёмистое нутро письменного стола. И только часть из них пошла на переделку и использование в строительстве нового кораблика, иногда весьма удачного в смысле выживаемости в толчее сотен тысяч ему подобных, блуждающих в ожидании своего читателя над пучиной забвения в бездонном и безмерном поэтическом океане России.

Время стихостроительства пришло ко мне не сразу, поначалу это были кораблики детского воображения, и то, что это именно кораблики я понял, когда, семилетним, стоял перед окном, а за ним клубилась беззвёздная ночь. Пугающе тревожно шумел ветер листьями моего одногодка клёна, кочковатое от облаков небо быстро меняло смутные очертания. Там, где были межоблачные прорехи, оно окрашивалось молодым месяцем тусклым светом, но ненадолго. Однако, народившийся месяц был настойчив в своём неукротимом стремлении увидеть землю, и ветер помог ему исполнить желание. Он разогнал тучки, и в моём окне, казалось, совсем рядом легонько запокачивался кораблик — месяц. Я

распахнул оконные створки, и он отплыл от меня к вершине притихшего от безветрия клёна, но был ещё совсем рядом, и подрагивал, как живой, и еле-еле покачивался с носа на корму, с кормы на нос и непременно умчался бы в темноту, но его удерживала вспыхнувшая как шляпка алмазного гвоздя блескучая звёздочка.

Зачарованный месяцем, я был не в силах оторвать от него взгляда, но пришла с работы после второй смены мама и, ласково нашёптывая, уложила меня в кровать.

— Новый день начался, Коленька, — убаюкивала меня она. — Новый кораблик приплывёт к тебе листком календаря. Ты сделаешь из него кораблик-лодочку, чтобы поставить на подоконник. Вот придёт зима, вот уйдёт зима, а весной поплывут твои кораблики по вешней полой воде в Иртыш, а из него в море-океан, по всему белому свету.

Первые кораблики появились в нашем пластяном земляном доме с возвращением маминого брата, моего родного дяди Петра, фронтовика-танкиста, которого демобилизовали только через пять лет после Победы. Я — безотцовщина — как увидел солдата в фуражке со звездой, в шерстяной гимнастёрке и бриджах, заправленных в хромовые сапоги с голенищами в гармошку, так и влюбился в него без памяти, тянулся к нему, надоедал с расспросами, но он на меня не серчал и одарял всем, что у него было: расчёской, ножичком, китайским с иероглифами карандашом и записной книжкой, и когда подарки истощились, подошёл к настенному календарю, оторвал листок и подмигнул:

— Хочешь, научу делать кораблики?..

Календарный листок в дядиных руках в мгновенье ока превратился в небольшой, размером со спичечный коробок, кораблик. Он тут же налил в алюминиевую миску воды, раскрутил её пальцем и сказал:

— Корабль на воду спустить!

Я осторожно положил кораблик на воду, и он запокачивался и заходил кругами по алюминиевой посудине. Но его хватило не больше, чем на полчаса, тонкая бумага намокла, кораблик отяжелел и, когда я его взял в руку, превратился в мокрый комочек. Это меня огорчило, но не отбило охоту научиться делать кораблики, и все листки календаря я стал превращать в кораблики, конечно, даже не предполагая, что вдруг, через десятки лет, вспомню об этом и пойму, что время всегда остаётся с человеком, пока он жив.

Ах, как я сейчас понимаю, что всё моё писательское прошлое есть каждодневное делание литературных корабликов самой разной формы и величины. Доводилось мне отправлять в

плаванье стройные, как парусные корветы, лирические новеллы, тяжёлые, как дредноуты, исторические романы. Провожал я в путь романы — теплоходы о современности, однако милее мне, старому корабелу, строить из миражей воображения, из осязаемой пустоты предчувствия бумажные кораблики негромкой лирики.

И, прожив жизнь, я понял, что и сам был не человеком, а бумажным корабликом, что все люди суть бумажные кораблики, и каждого в своё время Бог отправил в земное плаванье с какой-то целью. Разгадать её не берусь, могу только предположить, что бумажные кораблики от Господа — единственное спасение тонущему в грехах человечеству.

ВСЁ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО…

Паутина

Сейчас газетчики, телевизионщики самонадеянно называют себя четвёртой властью, но они не власть, хотя иногда начальство делает вид, что их побаивается. В советское время подчинённое положение журналистов не маскировалось: пишущую братию прямо называли партийными перьями, поэтому, просовывая голову в журналистский хомут, я знал, что это не на всю жизнь.

Серьёзным занятием для меня была только поэзия, но она не кормила, поэтому мне постоянно приходилось зарабатывать на жизнь какой-нибудь подёнщиной: в газете, на телевидении, написанием и редактированием заказных книг. Такая планида приучила меня быть терпеливым и готовым к любым неожиданностям.

Эта история началась в непостижимо высоких для меня партийных сферах, а сводить концы с концами пришлось мне. В один из июльских дней 1974 года редактор «Ульяновского комсомольца» Гена Лёвин пришёл из обкома комсомола в задумчивом настроении. Через некоторое время позвал меня к себе.

— Тут, понимаешь, такая бодяга, — сказал он и тоскливо поглядел в окно. — Приехал, понимаешь, сюда союзный министр инкогнито. Ну, чтоб подчинённые не лезли. Он — старик, верующий ленинец, вот и решил посмотреть ленинские места. Сходил в Дом-музей, мемориал. Решил пообедать в верхнем зале «Венца». На беду там две курвы со своими парнями сидели. Один и заехал своей по соплям. Министр, понятно, возмутился: в ста метрах от Ленинского Мемориала и творится, чёрт знает что, да ещё в обед. Ну, а этот нахал встал и запустил в министра фужером. Скандал. Министр с порезанным лицом звонит Подгорному (тогда советскому президенту, главе государства) и жалобится, что в ленинских местах творится бардак и всё такое. Подгорный позвонил Бабаю (первому секретарю обкома партии), и машина закрутилась. Выяснили, что вечерами в ресторане и гостинице форменный блядоход процветает. Но это же не уголовщина, органы бессильны что-либо сделать. Вот и отдали всё комсомолу. Твоя задача — написать статью. Иди к Блюдину, он тебя ждёт.

С Блюдиным, первым секретарём обкома ВЛКСМ, я был по-доброму знаком. Анатолий был комсомольцем с человеческим лицом — умный, отзывчивый и образованный.

— А, пришёл! — встретил он меня, поднявшись из-за стола. — Значит так, Николай. Встречаемся в восемь вечера у

ресторана «Венец». Посмотрим, что там пьют и как там пляшут…

Анатолий подъехал к месту встречи не на своей персональной «Волге», а появился откуда-то из толпы жаждущих попасть в кабак граждан. Протиснувшись вместе с ним и женой Людой к самому входу, я махнул перед дверью красным редакционным удостоверением, и швейцар распахнул перед нами двери.

— Ты гляди, — удивился Блюдин. — Тебя здесь уважают.

— Это не меня уважают, а красные корочки. Но, согласись, это маразм входить в ресторан по удостоверению.

В верхнем зале ресторана народу было битком. Я вычислил метрдотеля, представился и попросил организовать три места, что и было моментально сделано.

Мы заказали фруктовый сок и наблюдение началось. Но вдруг загрохотала музыка, и все кинулись танцевать. А через полчаса началась массовая драка между хоккеистами «Волги» и ворами-карманниками.

— Да, — сказал Анатолий, когда мы вышли на улицу. — Кое-что стало понятно. Это вертеп какой-то!

Утром я пошёл в областное УВД в уголовный розыск, где меня дожидался оперативный работник Слава Кабанов, курировавший гостиницу и ресторан «Венец». Слава познакомил меня с начальником уголовного розыска области, потом провёл к себе в кабинет.

— Я вызвал сегодня одну гражданку, — сказал он. — Интересная экземплярша… А вот и она!

В крохотный кабинетик опера, «дыша духами и туманами», вошла роскошная красавица.

— Здравствуйте! — слегка потупившись, скромно произнесла она. — Вызывали?

— Проходи и садись, — произнёс опер степенным голосом и шумно прокашлялся. И действительно, на нарушительницу режима работы гостиницы трудно было смотреть без волнения.

Кабанов пошелестел бумажками и строго сказал:

— Ты получила уже два предупреждения. На работе тебя обсуждал коллектив.

Девица смотрела на опера красивыми коровьими глазами и теребила платочек.

— Тихоня!.. — саркастически произнёс Кабанов, когда мы остались одни. — Представляешь, что она на работе учудила! Гостиница послала уведомление по месту работы, что гражданка такая-то была выпровожена из номера после одиннадцати часов. Собрали собрание, зам главного врача, старик, стал стыдить её за аморальное поведение. Наша клиентка встаёт, подходит к нему и

говорит, что ты, мол, вчера меня трахал, а сегодня воспитываешь! И влепила ему пощёчину. Пришлось деду доказывать, что он импотент.

Две недели я ходил вечером в ресторан, а утром в УВД, куда Кабанов вызывал особ лёгкого поведения. В моём блокноте скопилось около семидесяти фамилий. Ульяновск был открытым городом, и в нём водились иностранцы — арабы, кубинцы, немцы, чехи. Это были слушатели Школы высшей лётной подготовки и военных училищ. Наши ночные «бабочки» отдавались не за деньги, а по щедрости натуры, такие интернационалистки были. Привлечь их к ответственности за это было нельзя. Оставалось общественное порицание.

Результатом моей работы стала статья в «Ульяновском комсомольце» под ужасным названием «Паутина», вызвавшая лёгкий шумок в определённой части публики. После выхода газеты со статьёй двери ресторана «Венец» для меня были открыты в любое время, что само по себе было неплохо.

Случай в поезде

По складу своего характера я не могу относиться к делу с прохладцей, всегда загораюсь им, что по житейским меркам делать неразумно. Таким я стал и журналистом. Современный читатель поймёт, как я был наивен со своими жалкими попытками найти справедливость там, где её не могло быть по определению.

Итак, 11 октября 1973 года, поезд Инза — Ульяновск. Я побывал на своей инзенской квартире, сделал попутно материал для газеты из диатомового комбината и теперь сидел возле вагонного окна, с грустью озирая окрестности. Неподалёку от меня расположилась девушка с книжкой. Напротив сидел здоровенный дядька, складки на шее, как на хромовом сапоге. Через сиденье — старичок, лет шестидесяти. Командированные. Те, как зашли, сразу выставили на чемодан бутылку водки, выпили и стали играть в карты. В углу наискосок от меня находились четверо юношей лет шестнадцати, в стёганках.

Сидел я, наблюдал за осенним пейзажем, даже какие-то поэтические строки невольно складывались, а тем временем поезд подошёл к станции Глотовка, и в вагоне появились герои моей будущей статьи, студенты выпускного курса педагогического училища, будущие преподаватели черчения и труда. Завалились в вагон, упали на сидения, закрутили головами: кто едет, нельзя ли права покачать? А тут, как назло, рядом пареньки явно затрапезного деревенского вида. Подошли к ним, нависли.

— Да нету! Всё отдали! — раздался чей-то испуганный голос.

Незамедлительно следуют пинки и затрещины. Тогда это было делом невиданным, чтобы так нагло среди бела дня выворачивать у кого-нибудь карманы. Оглядываюсь на соседа, тот в книжку вцепился, аж пальцы побелели. Старик к уху ладонь приставил и рот открыл — слушает. Толкаю соседа, мол, пошли, вмешаемся, а тот застыл как чугунный, только жилы на лбу карандашами вздулись. Я срываюсь с места и кричу: «Нехорошо грабить мальчишек, а ещё в присутствии самой интересной в области газеты «Ульяновский комсомолец!» Разбойники, напуганные моим появлением, бросились удирать в сторону хвоста поезда. Решаю, что раз оружие (удостоверение литсотрудника) вынуто, останавливаться на полпути нельзя. Кондуктор говорит, что милиционера в поезде нет, но можно привлечь для задержания грабителей ревизоров. Кондуктор ушла за подмогой, а я подсел к подвергшимся нападению паренькам.

Они ещё не оправились от страха, растирают кровь и слёзы по лицу. Наиболее смышлёный из них говорит: «В Вешкайме мы учимся на шофёров от военкомата. Сами из Годяйкино. Какие были деньги — отдали, не этим, а другим, они раньше приходили».

Появились ревизоры, строгие, крепкие на вид мужики, в форменных фуражках. Они не удивляются происшествию. Говорят, что на других направлениях положение ещё хуже. Мы пошли по вагонам. В третьем вагоне нашли нападавших. Парни пили вино и отчаянно дымили сигаретами.

Я тогда считал, что пойманный за руку преступник должен немедленно сознаться в содеянном, испытывать угрызения совести. Оказывается, уличить негодяя труднее, чем поймать. Хулиганы, называю их так условно, обнаглели. — Да он всё выдумывает! — заявляет один. — Ничего не было! — уверяет другой.

Приходится идти за свидетелями, потому что сами потерпевшие сошли в Вешкайме. Возвращаюсь в свой вагон. И дед, и здоровый дядька в свидетели пойти отказались. Я, конечно, расстроился. Но вот поднялась с места девушка и решительно тряхнула кудряшками.

— Я пойду… Я всё видела.

Вместе с милиционером, который сел в поезд в Вешкайме и помог мне задержать лихих парней, мы их сдали в отделение милиции на железнодорожном вокзале в Ульяновске. Машина правосудия была запущена, оставалось ждать результатов её работы.

На следующий день я отчитался перед редактором за командировку, отдал уже готовый материал о случае в пригородном поезде и был свободен от текучки.

И вдруг на моём столе задребезжал телефон. Звонила директор педагогического училища, приглашала приехать в гости, разобраться.

— Извините, — ответил я. — Разбираться в этом деле будет прокуратура, поскольку пострадавшие несовершеннолетние.

— Ужас! Ужас! Ужас!

Потом позвонила секретарь районного комитета комсомола, потом кто-то из обкома партии. Потом позвонил…

Огромное количество людей, готовых помочь «хорошим мальчикам», вызвали у меня невесёлые мысли. «Чёрт меня дёрнул, — говорил я себе, — сдавать их в милицию! Надо было выбросить их из вагона!..»

Выяснилось, что наказать даже за очевидное, не требующее доказательств, зло не так-то просто. После опубликования статьи

многие журналисты говорили мне, что я совершил глупость. Пустяшная статья о политучёбе стоила столько же, сколько мое расследование.

Мелочи жизни

В 1973 году Ульяновск был тихим провинциальным городом, во всяком случае, казался таким, хотя его население приближалось к шестистам тысячам. Географической его особенностью является то, что он вытянут с севера на юг и с востока на запад почти на тридцать километров. Если добавить к этому огромное зеркало водохранилища, то число жителей на каждый квадратный километр было незначительно по сравнению с другими городами. Север города, Заволжье, Тути, центр, за исключением нескольких улиц, были застроены домами с низкой этажностью. Город состоял как бы из рабочих посёлков, сконцентрированных возле заводов: Нижняя терраса — машиностроительный завод, Верхняя терраса — «Комета», «Марс», Киндяковка — моторный завод, кондитерская фабрика, обувная, мебельный комбинат. Засвияжье было сконцентрировано возле УЗТС, автозавода, радиолампового и механического заводов, многочисленных строительных организаций. Люди, проживая в своих микрорайонах, работали на ближайших заводах и центр города посещали редко. Поэтому он не был таким многолюдным как сейчас.

Тогда на лавочках сквера по улице Гончарова по утрам посиживали степенные граждане с газетами в руках. Но это не были любители политического самообразования. В газетах они прятали чинарики аптечного производства: огуречный рассол, одеколон «Шипр», настойку боярышника. Для алкашей в сквере было сделано, как говорят по инициативе милицейского генерала Буркина, существенное удобство — водяные фонтанчики, которыми утолялась жажда весьма респектабельных алкашей.

С 8 до 9 утра, когда номенклатурный народ шёл по своим конторам, возле ЦУМа раздавались трели милицейского свистка. Это милиционерша ГАИ Антонина Ж. показывала проходящему начальству, что Госавтоинспекция не дремлет. Возле стадиона на улице Карла Маркса начальник горотдела милиции полковник Брюзгин пробивал дырки в документах деревенских водителей, не ведавших, что по утрам здесь пребывать опасно.

Но вот с обкомовской дачи проносилась «Волга» с «Бабаем», Тоня прятала свисток в один карман, книжечку со штрафными квитанциями — в другой. Полковник Брюзгин, утирая пот со лба, поспешал к зданию УВД. А я выходил из дома-утюга (ул. К. Маркса, 12) на работу.

После 9 часов утра, когда все расползлись по конторам, и час беготни по магазинам ещё не пробил, улица Гончарова была

тихой и малолюдной. Как я любил проходить по ней в этот час и наблюдать, как недалеко Волга дышит прохладой, а по улице медленно едет поливальная машина, сверкая всеми цветами радуги…

На скамейках возле «Детского мира» расположились приезжие из села с ребятнёй, ждут открытия магазина. Здесь можно было услышать сейчас исчезнувшее из разговорного обихода часто употреблявшееся словечко: «чать», то есть чаю, надеюсь. Впрочем, оттенков смысла у этого слова было много.

…В житейском укладе ульяновцев в то время было ещё много ветхозаветного, провинциального. Жители улицы Мира и переулков ходили в свою баню. У нас с женой существовал выбор: можно было, захватив тазик, пойти в баню в Молочном переулке, а можно было двинуть и в другую сторону через центральный рынок на дамбу. И та и другая баня были запущенными, грязными, но весьма посещаемыми. В общем зале мылись рядом и бомжи, и интеллигенты, вход стоил всего 20 копеек.

Когда наша Настенька подросла, то мы её брали с собой в баню на Молочном. Обычно мы покупали за рубль отдельный номер, Люда мыла его большим напором воды из резинового шланга. Я мылся под душем, а Люда с Настей плескались в тазах, которые приносили с собой. После бани я выпивал стакан шипучей газировки с сиропом. Дома укладывали дочку в постель и садились пить чай с вареньем.

В моём доме-утюге было печное отопление, и заготовка дров была важной частью семейных забот. Во дворе дома мне принадлежал сарай, в котором хранились дрова. Но прежде чем приступить к их хранению, следовало ими запастись. Делом это было непростым, но мне повезло. С нашей газетой сотрудничал работник железной дороги Николай Ляпин, у которого на работе хранились завалы использованных старых шпал. Обычно я находил самосвал, самый большой, приезжал на какой-то железнодорожный тупик и мне за литр водки набивали самосвал так, что рессоры его начинали скрипеть, а шофёр приходил в ужас. Но я его успокаивал трёхрублёвкой, и шпалы благополучно доставлялись на место. Все дрова обходились всего рублей в десять. Пилить шпалы из-за пропитавшего их креозота было тяжело, но горели они жарко. У меня в квартире было две круглые печи. Обычно я затапливал их утром, набивая до отказа обрезками шпал. Перед уходом на работу я завинчивал дверцы печей, прикрывал наполовину вьюшки и целый день дрова медленно горели. Только в очень сильные морозы приходилось протапливать печи по второму разу. В феврале к отоплению квартиры подключалось солнце, пять огромных окон выходили на

юг, и ранней весной пол в зале нагревался так сильно, что слегка обжигал ступни ног.

Стоит сказать и о самом доме. Он и сейчас стоит на углу улицы Карла Маркса и переулка А. Матросова. Я в него заселился летом 1974 года. Тогда на первом этаже находился кондитерский цех и склад бытовой техники, который в декабре 1978 года благополучно сгорел, причинив Облбыту убытков на полтора миллиона рублей, а нас, жильцов, вскоре после этого выселили не без моего участия. Но об этом в своё время.

В августе 1975 года у нас в этом доме родилась Настенька, Люда ушла в декретный отпуск, и нам пришлось заводить уже полноценное семейное хозяйство: со стиркой белья, глажкой, регулярной уборкой помещений от пыли и мытьём полов, освоением кухонной плиты. Незаметно из Люды, которая дома у мамы не занималась хозяйством, выработалась отличная хозяйка. Впрочем, я сам не гнушался домашней работы и, начав с приготовления яичницы по-американски, научился варить отменные борщи, во всяком случае, Люде они нравились.

В 1976 году мясо в магазинах города ещё было в продаже. А в магазине «Здоровье» я покупал и шейку, и карбонат, и буженину. Но к 1977 году всё это куда-то исчезло. И мы стали ходить за покупками на рынок. Тогда Центральный рынок был совсем небольшим. По одной стороне его, возле завода «Контактор», существовал в остатках так называемый «голубковский порядок» — старые здания из красного кирпича, в которых были пивная, овощной магазин и ещё один магазин, кажется, торговавший уцененными вещами.

Люда никогда в своей жизни ничего не покупала на базаре, кроме семечек, и какое-то время мне приходилось сопровождать её, чтобы она не терялась от напора торгашей, пытавшихся всучить ей несвежие продукты. Но Люда была санитарным врачом и в качестве продуктов разбиралась профессионально.

Иногда я ей выговаривал, чтобы она не гналась за дешевизной, а покупала продукты, хоть подороже, но лучшего качества.

Когда Настеньке исполнился год, мы стали всей семьёй ходить гулять на Венец, на бульвар от Краеведческого музея до пединститута. Сейчас, говорят, там по вечерам царствует пивной балдёж, а тогда на Венец в хорошую погоду выходила масса народу, причём приезжали даже из других районов города. Часов в восемь в ЦПКО им. Свердлова начинала звучать музыка, по Волге, сияя огнями, проходили теплоходы. На светлых палубах тоже звучала музыка, и какое-то время казалось, что на земле наступил долгожданный праздник, который нам посчастливилось

увидеть.

В то время мы любили всей семьёй ходить в кино. Кинотеатры тогда ещё не утратили своеобразного шарма. В фойе кинотеатра «Художественный» начинали пускать минут за сорок до начала киносеанса. Работали буфеты, где продавались газированная вода, сладости, мороженое, а иногда и шампанское. На невысокой эстраде располагался оркестрик: фортепьяно, саксофон, труба, скрипка, барабан. К микрофону выходила певица — дама, весьма пожившая и видавшая виды. Её репертуар состоял из романсов и песен 30-х годов. Всё это принималось публикой очень благожелательно, нравы были просты.

Народ жил спокойно, не ведая нервотрёпок и унижений, которые ему пришлось пережить в эпоху хама Бориса и демократических негодяев. Большинство из нас потешались над Брежневым, слушая «Голос Америки» или «Свободу», пускали слюни от вожделения приобщиться к западным ценностям. Но кто из нас тогда знал, что Леонид Ильич Брежнев — последний советский вождь, при котором держава ещё сохраняла своё величие и силу, не дававшую распоясаться Америке?

Я был плохим мужем и отцом, и в этом во многом виновато то, чем я занимался, чем был захвачен до самой глубины души. «Не доверяй поэту дева», — писал Ф. Тютчев. Поэта в семье вынести чрезвычайно трудно, но Люда сделала невозможное — она сохранила меня для самой себя и поэзии и родила двух дочерей, хотя рожать ей запрещали врачи, но она добилась своего. Об этом я узнал, когда дочери закончили институт.

Вначале 1970-х я не проводил ни дня без строчки. Но почти все они были слабы и неотесанны. Вместо отличной древесины, которая бы звенела на ветру, я гнал неошкуренные горбыли, все в сучках и задирах. Но написано было много. И в один момент прозрения я стал сортировать написанное мной. И в результате получилась книжка.

Мой Литинститут

Я так озаглавил это своё воспоминание, чтобы подчеркнуть тот непреложный факт, что у каждого, кто учился и, тем более, закончил этот вуз, остаются о нём только свои воспоминания. Оговорюсь сразу, что очное отделения я не знал вовсе. Конечно, я видел каких-то жутко худых и очкастых людей, которые посещали дом Герцена, но они заочников не интересовали.

Заочник — вот кто составляет творческую основу Литинститута. Это были гении со всего Союза, которым для полной гениальности недоставало знаний античного театра, трубадуров средневековья и ещё полутора тысяч книг писателей всех времён и народов, которые нужно было знать обязательно, если ты хотел стать знаменитым писателем. Не знаю, как другие, а я читал, память у меня была отменная, даже несравненная Тахо-Годи, профессор античной литературы была удивлена моей болтовнёй о Платоне, а профессор Артамонов — о Петрарке. Это я говорю не для похвальбы, а чтобы подчеркнуть, что учиться можно и в аккумуляторной, где я работал, и в кочегарке. Книги, по специальной просьбе Литинститута, нам давали в областных библиотеках, государство нам оплачивало проезд до Москвы и обратно, оплачивало учебный отпуск — условия, которых современные студенты не знают.

Но разве мы ценили то, что давалось так легко? Из Литинститута не отчисляли за академическую задолженность, но немедленно изгонялся любой грамотей и умник, если руководитель творческого семинара ставил ему «неуд».

Как поступали в Литинститут? Сначала я где-то в марте послал 300–400 строк поэзии на творческий конкурс. Получение вызова на экзамен означало, что творческий конкурс пройден.

Я приехал в Москву за два дня до экзаменов и погрузился в шумную обстановку абитуриентских страданий. Мне дали койку в комнате, в которой я жил с Димом Даминовым, филологом из Уфы, Толей Гребневым, врачом из Перми, Николаем Малашичем, офицером-ракетчиком. Не помню, чтобы мы отчаянно готовились к сдаче сочинения, но сдали, причем я — на «хорошо», потому, что свои мысли о «Горе от ума» уложил в шесть страниц текста. Впереди меня сидел режиссер из новосибирского «Красного факела». Он настрочил не менее пятидесяти страниц текста.

Утром я с замиранием сердца и всех остальных трясущихся частей тела подошел к информационной доске и увидел вожделенную «четверку». Устные экзамены меня не страшили. И вот тут в открытом окне канцелярии заочного обучения я увидел,

как вчерашний режиссер разговаривает с Борисом Леоновым, доцентом кафедры литературы.

— Я не сделал ни одной ошибки! — возмущался режиссер.

— Ты, братец, сделал одну ошибку, что родился на белый свет, — спокойно ответил Леонов. — Вопрос закрыт.

Вечером я попал в какую-то комнату, где режиссер читал вслух своё сочинение. Мысли там были не ахти какие, но занозистые, что в России не спят будочники и поэты, что-то про жандармов.

В этот же вечер я сделал еще одно открытие, подсказку к которому преподнес мне один гражданский летчик из Семипалатинска. Он на полном серьезе говорил всем, что может предсказывать будущее после того, как в центре Семипалатинска его укусила свинья.

— Не понимаю, зачем экзамен, — сказал он. — Вчера состоялось собеседование. Но во всех вузах собеседование состоится после экзаменов…

Это действительно была интересная мысль. Я поступал и учился в двух технических вузах, и там собеседования были после экзаменов.

— Они заранее «покупают» творческие семинары, — сделал лётчик, укушенный свиньёй, завершающий вывод.

Видимо, так оно и было. От нас не ожидали демонстрации на экзаменах впечатляющих знаний. Тройка вполне устраивала комиссию, но основной отбор проводился теми, кто набирал творческие семинары. А на творческий конкурс, надо думать, приходили тысячи и тысячи литературных произведений. Каким-то образом эта масса просеивалась, и в осадок выпадали те, кого руководители семинаров посчитали перспективными авторами.

На курс набиралось человек семьдесят: поэтов, прозаиков, драматургов и критиков. Из этого числа примерно третья часть по творческой несостоятельности отсеивались. Это были русские, украинцы, белорусы. Бездарей из солнечных республик доводили до вузовского диплома, весьма авторитетной вещи во время рыночных разборок с милицией. «Я — поэт! — кричал торговец хурмой без справки от сельсовета. — Я закончил Литературный институт имени Горького». Этих «меньших братьев» трогать было нельзя. А вот славян — пожалуйста. Была у нас и достаточно сплочённая группа русскоязычных кандидатов в русские классики. Все они благополучно закончили Литинститут и живут припеваючи, кто в Израиле, кто в Штатах, кто в районе Садового кольца.

Поэтические семинары по поэзии вели Дмитрий Ковалёв и Владимир Гусев. Последний не был поэтом, но считался крупным

специалистом по теории стихосложения, обладал обширными филологическими познаниями, и у него было чему поучиться. Кроме того, он был очень прост в общении, и студенты его любили. Семинар по прозе вёл, кажется, зав. кафедрой творчества Курочкин, с критиками занимался Скорино, а драматургов вёл к театральному олимпу ректор института Владимир Пименов. Главноначальствующим над заочным отделением был Таран-Зайченко, человек настолько наивный, что он мог выговаривать студенту по поводу нетрезвого поведения, например, такое: «И выпили сто граммов! И вы, действительно, выпили смертельную дозу?..» и т. д.

Институт занимал небольшое здание по Тверскому бульвару, 25, во дворе стоял памятник Герцену, слева при входе размещались Высшие литературные курсы, где ускоренным порядком давали высшее образование членам СП СССР, платя хорошую стипендию 200 рублей в месяц, выделяя отдельную комнату, обеспечивая проездом, а через журналы и Бюро пропаганды — заработком, и неплохим. На Высших литературных курсах при мне учился саратовский поэт Иван Малохаткин.

За ВЛК находилась спортплощадка (я там играл в волейбол) и очень хорошая и дешёвая столовая. В те времена жизнь в Москве для студентов была дешёвой: за один рубль можно было прожить один день. Метро стоило пять копеек, троллейбус — три копейки.

Известно, что Михаил Булгаков изобразил здание нашего института в романе «Мастер и Маргарита». Так что дух Воланда витал над сим зданием. Говорят, что после войны здесь работал дворником Андрей Платонов, но это вряд ли — Платонов был инвалидом второй группы, получал помощь от Литфонда и не нуждался в метле и лопате. Но для тех, кто видел в России только плохое, это звучало вызывающе: гений Платонов подметает мусор за литературной шпаной.

О Литинституте говорят разное. Одни считают, что это маразм — готовить писателей из бездарей, другие уверены, что для своего времени — это была превосходная школа писателей. Правы, конечно, последние. Послевоенные наборы в Литинститут и ВЛК дали достойных писателей и поэтов — и «военных», и «деревенщиков».

В 1970-х годах выход писателей в «большую» литературу осложнился общим духовным застоем в стране, но в провинции они работали и во многом гораздо более успешно, чем москвичи. Просто власть в журналах, литературных издательствах была, как и сейчас, захвачена людьми нерусского, а то и просто антирусского закваса. Но честных, умелых, высокоталантливых

писателей (прозаиков, поэтов, драматургов) в глубине России немало. Но это совсем другая литература, она настоящая, в противовес московско-питерской — вымученной и неживой.

Здание на Тверской, 25 было лишь фасадом Литинститута. Настоящий институт, его сердцевина, пуповина, находился на улице Добролюбова, 9/11, в получасе езды на троллейбусе от кинотеатра «Россия» по направлению к Бутырскому валу. Это было общежитие.

Насколько я помню, общежитие отличалось довольно либеральным режимом, комнат хватало на всех. Я, например, только первую сессию жил вчетвером, а все последующие занимал отдельную комнату. Конечно, я чаще всего находился в гостях, но когда уставал или хотелось заняться делом, то уходил в свою комнату.

Поступив в Литературный институт, я с ужасом обнаружил, что практически не знаю мировой литературы, и поставил себе задачей изучить весь список рекомендуемой литературы не абы как, а с глубоким знанием текстов. Параллельно я изучал культурно-исторические эпохи, включая социализм. Книги по этим разделам у меня были, дореволюционные издания. Я не понимаю тех писателей, которые в состоянии написать, сбацать, слепить повестушку или поэмку, но никогда не учатся. Собственно, о лени и нежелании учиться русских писателей сказал Пушкин, но тут же поставил в образец Крылова и Карамзина.

В начале 1970-х годов мало кто из писателей понимал, что революция перевернула в России государственную идеологию, экономику, общественные и личные связи на социалистический и атеистический лад, и прежние смыслы классической литературы — Бог, Царь — были аннулированы, а Россия стала СССР. Казалось, и литературная классика сгинет в междоусобном хаосе, но Советская власть, притушив на время лампады перед её алтарём, зажгла перед писателями нового времени маяки электрификации, индустриализации и культурной революции, которые создали русскую советскую литературу, где ведущими смыслами стали светлое коммунистическое будущее человечества, человек труда, атеизм, дружба народов. Вокруг Дома русской советской литературы очень скоро возникли хаты, юрты, сакли, яранги, кибитки и подобные им постройки литератур народов СССР, которые плотно заселили талантливые писатели, пишущие в общем для всех русле социалистического реализма.

Приземление духовных смыслов литературы не могло ни сказаться на её насыщениями шедеврами, перед ней исчезли все

горизонты, кроме коммунистического миража-призрака, который для литературы, воссоздающей художественную конкретику, так и не стал идеалом будущего. Советская литература была лишена Бога, но без него не стало в ней и Человека во всей его богочеловеческой полноте, поскольку была отвергнута истина, что одна его часть — земная, от природы, а другая, духовная — от Бога.

Таким образом, в СССР существовали две литературы: русская классика и русская советская, которая, никоим образом, не была продолжением классики. И вот почему. Русская классика возникла на последней стадии русского феодализма, когда идеалом русской цивилизации был Иисус Христос. В советское время идеалом стал Герой нарождающегося социалистического времени, каким его видел товарищ Сталин. Однако прошло совсем немного времени и этот земной идеал начал осыпаться, ветшать и превратился в хорошо оплачиваемый социальный заказ, и русская советская литература после двадцатых годов во многом утратила способность не только к самостоятельному творческому взлёту, но и к самодвижению.

Слепое и безропотное подчинение принципу партийности, отвратило писателей от служения Правде и Красоте, и литература превратилась в многолюдный вшивый рынок. В писательской среде большое влияние приобрели люди, чуждые и даже враждебные русской культуре. Общее число насельников Дома советской литературы достигло десяти тысяч, и после хрущёвской «оттепели» он к началу восьмидесятых годов превратился в затхлый приют для «инвалидов слова», чьи творческие потуги, в основном, были хилы, блёклы и безжизненны. Однако русская классика ещё не утратила своего влияние на русских литераторов, что привело к появлению достойной деревенской прозы и произведений о Великой Отечественной войне.

Но младенческое недопонимание трагичности литературного процесса помогало нам войти в литературу с чистой верой в своё высокое предназначение. Мы верили в правду, и первые годы учёбы говорили очень много, взахлёб, запальчиво, безапелляционно и, конечно, наивно. В нас то и дело вскипала горячая праведная кровь. Нужно понимать, что мы были влюблены в литературу, она уже нас захватила за нутро, подчинила себе, а задача стояла как раз обратная — надо было подчинить литературу себе. Но это далось немногим. Многие бросили Литинститут, ушли в газетно-редакционную рутину, другие спились, а некоторые ушли из жизни совсем. Вечная им память!

За свою литературную жизнь я видел массу приспособленцев

к литературе. Способные циники: Рыбаков, Катаев написали детские книги, заработали миллионы и т. д. Это была одна литература. Другая литература была основана на идеалах добра и справедливости.

Преподаватели Литинститута были людьми неординарными. Всем нам, наверно, памятен профессор Водолагин, читавший первокурсникам вводные лекции по истории КПСС. Это был профессор-живчик, шариком катающийся по всему конференц-залу, где во времена Булгакова властвовал Арчибальд Арчибальдович, унёсший пакет с севрюгой, когда Воланд начал свои шутки. На Водолагина булгаковская чертовщина не действовала. Я, будучи в Сталинграде, увидел его фотографию на почётном месте, среди защитников волжской твердыни. Один из студентов, крымский татарин, что-то возразил ему о недопустимости выселения татар из Крыма. Водолагин как взвинтился, как пошёл сыпать цифрами и фактами: сколько татар вступило в эсэсовские батальоны, сколько советских солдат ими было погублено!

На семинарах по творчеству А.С. Пушкина по-своему буйствовал доцент М. Ерёмин.

— И на немые стогны града, полупрозрачная наляжет ночи тень!

— Что значит, стогны града? Ась?..

Мы не знали, что есть «стогны». Воцарялась гнетущая тишина.

— Площади города, — тихо пропищал кто-то в углу.

А доцент Ерёмин уже раскатывал по стогнам града всё стихотворение:

И с отвращением читая жизнь свою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю!..

И это тоже Пушкин! Пушкин многолик как Протей!..

…Русскую литературу XIX века читал доцент Богданов. У студентов он пользовался неважной славой. И вот однажды у меня с ним случилась история. Экзамен начался, а я пил пиво на «пустыре» — в пивной точке возле Останкинского молзавода. Потом спохватился и поехал в институт. Билет взял, сел готовиться к ответу. И тут, то с одной стороны требуют подсказку, то — с другой. Я вертел головой, объясняя, а что можно объяснить?.. Слышу: «Полотнянко! Отвечать!»

Подхожу, начинаю отвечать о литературных журналах начала

тридцатых годов XIX века.

— Достаточно, — говорит Богданов. — Вопроса вы не знаете.

А на мой пивной дух и не реагирует.

— Послушайте, профессор, — плету я ахинею. — С такими методами допроса вам нужно работать на Лубянке…

Богданов чуть не взорвался: полетели со стола разные бумажки, карандаши. Я подобрал зачётку, в которую Богданов не поставил «неуд», и пошёл собирать свою сумку. Богданов подбежал к моему соседу:

— Герасимов! У вас какой вопрос?

— Да как вам сказать… — пролепетал начинающий поэт.

— На допрос!..

Я вышел в сквер и сел на лавочку. Богданов пятерым поставил двойки и, довольный, пошёл обедать. Я опять нырнул в аудиторию, взял билет и смотрю на профессора Машинского, специалиста по Гоголю.

— Можно отвечать без подготовки?

— Приветствую ваш порыв, коллега, — усмехнулся Машинский, который видел моё столкновение с Богдановым.

Я взял билет и начал отвечать.

— Ну что же, прекрасно! — говорит Машинский. — «Отлично» я по понятным причинам вам не поставлю. На «хорошо» согласны?

— Конечно! — громко шепчу я.

Литинститут входил в число вузов, студентам которых полагались контрамарки на выступления московских театров, за исключением только нескольких. Контрамарки раздавала Надя Кондакова, жена Бори Примерова, и меня она не обижала. Я побывал в театре «Моссовета», где смотрел «Бег» М. Булгакова, в театре «Ленинского Комсомола», где видел «Король-Олень» К. Гольдони и «Мещанина во дворянстве» Мольера, в театре на «Малой Бронной» смотрел «Ромео и Джульетту», в других театрах.

Я не был завзятым театралом, некоторые режиссёрские новации меня коробили. Помню, в Ленкоме по спинкам кресел положили какие-то сходни, и актёры, выкрикивая реплики, бегали почти по головам зрителей. Нет! Это мне непонятно. Трудно мне понять театральную игру ещё и потому, что я, читая книгу, зримо представляю себе действие таким, каким его сотворил автор. В театре же между зрителями и автором бесцеремонно входит режиссёр и начинает что-то «творить», иногда и вовсе непотребное, а то и похабное. Такой театр не для меня.

Литинститут дал мне возможность посетить сокровенные исторические места России. Я только в Москве, вернее в Троице-

Сергиевой лавре, почувствовал себя русским человеком.

В Троице я бывал несколько раз, заезжал в Абрамцево, побывал на Бородинском поле, в усадьбах Толстого, Чехова, в Ростове Великом. Это дало мне много в плане духовного возмужания. Как и посещение Успенского собора, Алмазного фонда. А вот в Мавзолей я не пошёл. Не захотел смотреть на пустую оболочку самого великого потрясателя Вселенной, которого сейчас кремлёвские политики спрятали под фанеру.

Защита диплома

Собственно о дипломе и рассказывать было бы нечего, если бы не вмешательство в мою работу известного поэта, живого классика советской поэзии Александра Ароновича Долматовского, который был одним из рецензентов моей дипломной работы.

Итак, в конце 1975 года я отослал свой диплом в Литинститут и где-то в апреле 1976 года прибыл на его защиту. Сотрудницы деканата встретили меня известием, что Александр Ароныч шибко буянил по поводу одного моего стихотворения, грозился отнести его в Союз писателей СССР как доказательство того, что Литинститут выпускает чёрт знает каких поэтов с неоднозначным отношением к советской власти.

И, на самом деле, Ароныч схватил мой диплом и вырвал из него злополучную страницу со стихотворением:

Зной

Душно так — как будто рот зажат!
Воздуха не хватит на полслова.
В этом зной, конечно, виноват,
Долго зноя не было такого.

Осмотрись! — вокруг мертвы поля.
Ветер обжигает крылья птицам.
Пышет жаром чёрная земля,
Замышляя в солнце превратиться.

И на завтра вновь сулят жару
Смерчей огнедышащие танцы.
В миражах, в расплавленном жару
Плещется огонь протуберанцев.

Объявил смертельную войну
Зной всему, что в мире есть, живому,
Корни устремились в глубину,
Не умея думать по-другому.

Выжженная степь раскалена.
Пыль клубится жарко и лениво.
И стоит над миром тишина,

Будто после атомного взрыва.

Сотрудники кафедры творчества говорили мне, чтобы я не оставлял это дело просто так, не спускал Аронычу самоуправства, но у меня было такое блаженное настроение от того, что я наконец-то закончил столь известный, можно сказать, уникальный, вуз, аналоги которому в усечённом виде были только во Вьетнаме и ГДР. В честь окончания института я готов был подарить Аронычу весь свой диплом, чтобы он сожрал его целиком без гарнира, вместо фаршированной щуки.

Была ещё одна причина, которая остерегла меня от встречи с Аронычем. После разговора на кафедре творчества я спустился в туалет и там наткнулся на Долматовского, который вышел из кабинки и, не умывая рук, тут же на лестнице пожал руку своему почитателю. Нет, подумал я, от таких, как Ароныч, нужно держаться подальше.

А диплом с вырванной страницей я храню.

Первая книжка

В судьбе любого поэта особо место занимает первая изданная им книжка. Некоторые выпускают сборник своих стихов, едва выйдя из младенческого возраста, другие издают книжку, будучи уже людьми зрелыми, некоторые так и не издают ничего, а их творчество остаётся разбросанным по страницам газет и журналов, а то и вовсе хранится в архиве засекреченного ведомства. Определив себе поэтическую судьбу, человек ставит себя одновременно и над людьми, и ниже их, и правее и левее, в любом случае — вне здравомыслящей массы, он живёт и работает по законам, придуманным им самим. Отсюда — губительные столкновения с жизнью, отсюда — так много поэтов умирает молодыми.

Пушкинский «Проклятый жид, почтенный Соломон» победил аристократию, рыцарство. Вместо куртуазных романов, где воспевались высокие чувства, в жизнь пришла торгашеская литература, но оставалось ещё самое рыцарственное из искусств — поэзия.

Я имел весьма смутные представления о поэзии, когда собирал свою первую книжку. Писал простые стихи, но считал, что в них присутствует высота. Мог предложить издательству свою книжку и раньше, но решился на это после напутствия руководителя поэтического семинара в Литинституте Дмитрия Михайловича Ковалёва. Этот человек заслуживает, чтобы сказать о нём несколько добрых слов. С первых занятий он принял меня за «генеральского сынка», потом попросту не понимал моих стихов, пока на них ему не указала его жена.

— Я проснулся ночью от того, что Тоня плачет, — сказал он мне. — Она обычно читает стихи всех моих семинаристов. Это было твоё стихотворение «Берёзки». Прочитал его, потом все твои стихи, что у меня были. Об этом я написал в «Литературной газете».

Дмитрий Ковалёв на последних курсах пытался свести меня со своими друзьями: Василием Фёдоровым, Евгением Сидоровым, но я понимал, что ещё не готов встречаться с ними на равных. Я рассуждал, что главное для меня не публикация, а само создание стихотворения. Это было гораздо важнее, чем беготня по издательствам и журналам, даже переезд в Москву, который однажды был возможен. Я предпочитал себя чувствовать аристократом, как не наивно сейчас это звучит. Впрочем, Юрий Кузнецов — вот пример подлинного аристократа стиха. Как мелки перед ним всякие базарно звучащие вознесенские,

евтушенки и прочие гении СУЕТЫ как смысла жизни.

Юность Дмитрия Ковалёва пришлась на годы войны, он не окончил среднюю школу в нормальных условиях, но о поэзии он знал почти всё. Помню, сказал, что его поразили строчки А. Блока:

— Что ж пора приниматься за дело,
За привычное дело своё.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твоё…

Начинающему поэту очень трудно найти наставника в толпе поэтов, которая его окружает. И все они, начиная с Г. Державина, стремятся набиться к нему в поэтические поводыри. В этом кроется смертельная опасность для молодых поэтов, потому что сейчас редко кто приходит в поэзию с запасом того, что называют знанием жизни. Молодому поэту угрожает опасность открыть сразу для всех, что он глуп, что ему нечего сказать. Это в прозе можно долго притворяться многозначительным мыслителем, знатоком жизни, а в поэзии одного стихотворения достаточно, чтобы понять, чего стоит автор как художник. Но первую книжку спешат выпустить. И вот она выходит, и поэт враз обнаруживает, что никакой он не поэт, а просто жалкий рифмоплёт, чьё имя на Руси легион.

Я в свой поход за славой, то есть за изданием первой книжки, двинулся осенью 1975 года. Моим попутчиком и поводырём по Саратову стал Женя Мельников, он только что напечатал повесть из армейской жизни в журнале «Волга». Ехал он подтолкнуть выход повести в Приволжском книжном издательстве, а может быть и обозначить себя в качестве перспективного автора. Я тоже напечатал подборку стихотворений в «Волге», но это ещё не означало, что книжка будет принята к изданию.

Саратов и впрямь тянул на столицу Поволжья, во всяком случае, его центр смотрелся респектабельно. Помню, меня поразило большое количество красивых девушек на улицах. Но нам было не до них: оказывается в этот день проходило какое-то областное совещание, и ни в одной гостинице города нас не поселили, даже в Доме колхозника. Промыкавшись целый день по городу, мы пошли в редакцию журнала «Волга», надеясь, что там нам помогут.

Первым, кого мы встретили в журнале, был Николай Благов. Я был удивлён, что тот встретил нас так приветливо, но потом понял, что он всегда своих привечал на чужбине, хотя в Ульяновске их не замечал. Благов провёл нас к редактору

Николаю Елисеевичу Шундику, опытному и тёртому во многих переделках прозаику. Редактор сказал нам несколько тёплых слов и, узнав, что нам негде спать, распорядился постелить нам в гостевой комнате на диване.

— Я ещё долго буду работать, — сказал Н. Шундик. — А там, я чувствую, уже гости собрались.

И действительно, в редакции уже находились молодой, словно сошедший с картинки модного журнала, красавчик Иван Шульпин, Виктор Сафронов, Леонид Иванченко, у которого только что вышла в журнале повесть, и какой-то нейрохирург, любитель изящной словесности.

Благов отозвал меня в сторону и спросил, как у нас с деньгами, чем удивил меня во второй раз, потому что в Ульяновске его считали прижимистым мужиком. С деньгами у нас и саратовцев было нормально, я пригласил Николая Николаевича к застолью, но он сказал, что сейчас весь в работе и обещал подойти ближе к полуночи.

Хотя я никого из присутствующих, кроме Мельникова, не знал, мы были людьми одного круга, литераторы, и поговорить нам было о чём. В общении с саратовцами мне понравилось, что они никогда не говорили об отсутствующих плохо, да и вообще плохо не говорили, бывало, помянут некую фамилию и сразу её забудут. О них нельзя было сказать строками Дмитрия Кедрина: «у поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплёвывать друг друга». А в Ульяновске, увы, этим частенько грешили, да и до сих пор грешат.

В тот вечер по доброму посмеивались над Лёней Иванченко, который издал повесть в журнале, а теперь приставал к Н. Шундику, чтобы тот заплатил побольше. Шундик отмалчивался и, выпив рюмочку коньяка с молодёжью, шёл к рабочему столу.

Уже поздно вечером, когда все разошлись, Николай Елисеевич пришёл с полбутылкой коньяка и поставил её на столик. Мы выпили по рюмочке, и Шундик сказал Мельникову: «Повесть твоя была сырой, мне пришлось кое-что переписать, но дело в том, что эта повесть нужна по своей теме, она рисует молодого человека в воинских буднях…»

Пришёл Николай Благов и увёл Шундика домой. Литературный день во славном городе во Саратове закончился.

Утром мы поехали в Приволжское книжное издательство. Женя должен был узнать о продвижении своей книги, а я предложить свою первую книгу стихов для издания.

Завотделом литературы был Юрий Никитин. За другим столом сидел добрейшей души человек с интересной судьбой — поэт Иван Малохаткин.

Я подал ему рукопись, он сразу предложил:

— Может в кассету?

— Я, Иван, уже взрослый человек и мне нужна книга.

— О, да тебя Дмитрий Ковалёв рекомендует. Ты что, у него учился?..

— Да я, Иван, вместе с тобой учился. Иногда и встречался.

— Конечно, я тебя помню. Я ухожу из редакции, но Шульпину своё мнение скажу.

Тут как раз к месту явился наглаженный, наутюженный Иван.

— Иван, ты знаком с Николаем? — спросил Малохаткин.

— Знаком. Давай рукопись! Я сейчас иду к директору издательства.

Через полчаса Шульпин вернулся и показал утверждённый издательский договор о выходе моей книги в 1-м квартале 1977 года.

Сейчас находятся литераторы, которые всячески охаивают постановку издательского дела при советской власти. Они обычно жалуются на зажим мнений, кумовство, «секретарскую» литературу. Да, всё это было: были редакторы дуболомы, была литература для секретарей Союза писателей, но издавалось очень много хороших книг, честных, умных на высоком художественном уровне. В то время немыслимо было издать бредятину Пелевина, Сорокина, Ерофеева. Этот помойный отстой плескался, где ему и следовало плескаться: в канализационных системах, а не захлёстывал грязью и вонью пороги издательств, книжных магазинов и общественных библиотек.

Я не верю в новаторство литературы, потому что литература объемлет круг вечных нравственных тем, и все они входят в заповеди Божьи. Для меня смешны всякие формальные новации в построении стиха, всё это уже дала античность.

Через год, осенью 1976 года, я получил шестьдесят процентов гонорара за книжку и что-то купил жене. Она радовалась, как ребёнок. И вот книжка вышла в самом начале марта 1977 года. Я впервые держал в руках тоненькую брошюрку с 80-ю стихотворениями и очень волновался, уже думал о следующей книжке, рукопись которой отослал в издательство «Современник».

Через два дня я получил известие о смерти Дмитрия Михайловича Ковалёва. Для меня это была большая потеря. Шесть лет он был для меня руководителем семинара, беспощадным судьёй и добрым товарищем. Дмитрий Михайлович прекрасно знал, что научить человека писать стихи нельзя. Но от него всегда исходило неукоснительное требование — верно следовать классической поэтической традиции, не размениваясь на новомодные пустышки. Где-то в душе он понимал, что не

достигнет, как и его ученики, высот поэтического бессмертия. У писателей нашего времени была другая задача, и мы её выполнили: мы загатили, замостили собой и своими стихами кровавую боль безвременья, и по нашим следам пройдёт великий поэт России, неизбежность прихода которого я чувствую уже лет двадцать. И мне кажется, Дмитрий Ковалёв так же оценивал своё поэтическое предназначение на земле. А какими мы будем там, в горних пределах, знать не дано нам, смертным.

Квартирный вопрос. Вл. Соколов, Гр. Коновалов, «Бабай»

В начале 1974 года мой квартирный вопрос начал потихоньку разрешаться. Редактор Геннадий Лёвин обратился к первому секретарю горкома КПСС Александру Семёновичу Золотову, и тот обещал посодействовать мне в получении квартиры в старом фонде. И действительно, в апреле меня пригласили в горжилуправление и дали несколько адресов квартир. Я сходил вместе с женой по этим точкам и был потрясён, в какой неухоженности десятилетиями проживают ульяновцы рядом с объектами Мемориальной зоны, построенной к 100-летию вождя.

Это были деревянные, готовые сгореть дотла трущобы, иногда на кирпичном фундаменте, остатки старого мещанского Симбирска. Кое-где в домах была холодная вода, бытовой газ в баллонах.

Увиденное мне страшно не понравилось, и в начале мая я уехал на сессию в Литинститут. Из-за квартирной неустроенности я чувствовал себя неважно, меня пугала перспектива лет двадцать прожить в коммуналке, где детям не место, да и поэзия тоже плохо чувствует себя на чердаках и в подвалах. В таком состоянии я лежал на кровати в общежитии, когда пришёл мой приятель вятский пермяк Толя Гребнев и сказал, что у него в комнате ночевал Анатолий Передреев, очень хороший русский поэт.

Передреев лежал на кровати, а перед ним стоял в просительной позе азербайджанец с папкой подстрочников. Дело было понятным: для заработка Анатолий переводил акынов и ашугов на русский язык, кстати, весьма неплохо, а главное, быстро. На этот счёт у меня как-то был разговор с Борисом Примеровым. Тот пришёл ко мне в комнату и, блаженно потянувшись, сказал, что сегодня за ночь перевёл книгу узбекской поэтессы Зульфии. Я пытался переводить своих сокурсников и вскоре понял, что перевод — это создание новых стихов на заданную тему.

— Очень просто перевёл, — пожал плечами Борис. — Начитался Луговского, подзарядился и пошёл строчить, как из пулемёта… Ночь позора, но на треть кооперативной квартиры заработал…

Примеров был инвалидом, говорили — в детстве его контузил немецкий снаряд. Он окончил Литературный институт, писал стихи, издавался. Но жил в общежитии, ему это разрешили,

потому что его жена Надя Кондакова ещё училась в Литинституте. У Бориса Примерова была своя страница в «Огоньке», где он публиковал статьи по изобразительному искусству. Редактор «Огонька», очень влиятельный в партийных кругах А. Софронов, добился для Примерова разрешения на прописку и вступление в жилищный кооператив в Москве. Вот Борис и работал, ковал деньгу для семейного счастья с Н. Кондаковой.

Я думаю, Анатолий Передреев тоже не тратил много времени на переводы националов. Его просто интересовало, а стоят ли стихи перевода.

— Меня Прасолов переводил. — робко сказал азербайджанец.

— Ну, хорошо, оставь рукопись, — поморщился Передреев, добавив, когда за гостем закрылась дверь. — Лучше бы сто рублей дал.

— Умывайся, мы сейчас с Николаем сходим, — сказал Гребнев и потянул меня за рукав из комнаты.

— Это же Передреев! — восклицал он, когда мы шли в магазин. — Это же Передреев!

Толя восторженно относился к некоторым столичным поэтам, которые группировались вокруг критика Вадима Кожинова.

— У тебя деньги есть? — спросил он.

— Рублей двадцать.

— Надо бы Передреева в ЦДЛ свозить. Слушай, у меня есть деньги на костюм, полторы сотни…

— Можно и за восемьдесят рэ отменный костюмчик оторвать!..

— Вот и я такого же мнения.

Анатолий Передреев привёл себя в порядок, то есть побрился, умылся, расчесал свой великолепный чуб соломенного цвета. Пока он собирался, Гребнев подарил ему хорошо изданную книжку стихов. Передреев открыл её наугад и нашёл слово, которое ему понравилось новизной — «меркота». Он повторил его несколько раз, а милый Толя зарделся от счастья.

В ЦДЛ мы приехали до обеда. Сначала заседали где-то внизу. К нам подошёл Станислав Куняев. Это был Толин кумир. Куняеву подобное внимание было по душе, они отошли в сторону, стали обсуждать какие-то дела. И вдруг Передреев хлопнул меня по плечу и представил человеку, которого я узнал сразу. Передо мной стоял Владимир Николаевич Соколов, которого я считал первым из живущих тогда поэтов. На его слегка помятом лице обращали на себя внимание огромные живые и добрые глаза. Он сел за стол, вскоре вернулись Куняев и Гребнев, мы стали пить портвейн. Затем перешли в зал, что-то съели горячего, а потом

кто-то, по-моему, Соколов, предложил:

— Хватит торчать в богадельне! Поехали в общагу!..

И это было очень правильное предложение. В ЦДЛ всегда была «меркота» от постоянно распыленного в воздухе вранья, и в этом плане общежитие Литинститута было оазисом, где литература росла без всякого ухода и надзора, как сорная трава.

Поехали, по пути зашли в магазин, отоварились портвейном «три семёрки», который у всех поднял тонус. Изрядно выпив и закусив, Толя Гребнев с восторгом начал читать стихи Куняева, меня это задело, и я, подождав, когда разговоры поутихнут, громко произнёс:

— Лет шесть назад жизнь моя, можно сказать, зашла в тупик. То есть я не знал, как мне дальше жить и что делать. Помню, шёл ночью по дороге, вокруг никого, одни яркие звёзды низконизко сияли надо мной. Не знаю, может быть, я решился в этот момент на самое страшное, но во мне вдруг ожило и спасло, вернуло меня к жизни одно стихотворение:

Снега белый карандаш обрисовывает зданья.
В этот тихий домик ваш я пришёл без опозданья.
Я б пришёл тебе помочь по путям трамвайных линий,
Но опять рисует ночь чёрным углем белый иней.
У тебя же всё они, полудетские печали.
Погоди, повремени — наша жизнь ещё в начале.
Пусть уходит наш трамвай, обращая к ночи зренье,
Я шепчу тебе, ну дай позаимствовать уменье.
Взглядом сердцем весь приник, помоги мне в миг бесплодный!
Я последний ученик в мастерской твоей холодной.

Все молчали. Видимо, никто не знал этого гениального стихотворения кроме меня и его автора Владимира Николаевича Соколова. Моё чтение расшевелило Соколова, который, видимо, в который раз переживал очередную личную драму. Он прочитал несколько своих стихотворений глуховатым печальным голосом.

Застолье было в разгаре, и я объявил, что мне нужно отлучиться на переговорный пункт: предстоял телефонный разговор с женой. Вернулся я расстроенный: в горжилуправлении предложили опять квартиру из худших, что только есть. Соколов отвёл меня в сторону и спросил о причине моего плохого настроения. Я рассказал.

— А Григорий Коновалов может тебе чем-нибудь помочь? — спросил он.

— Коновалов живёт в Саратове, а я в Ульяновске.

— Это неважно.

Владимир Николаевич достал записную книжку и продиктовал мне саратовский адрес Коновалова и текст: «Дорогой Григорий Иванович! Поздравляю тебя с днём Победы! В Ульяновске живёт великолепный поэт Николай Полотнянко, помоги ему получить квартиру. Обнимаю, целую, всегда твой Владимир Соколов».

Сунув записку в карман, я побежал на почту, которую посещал время от времени, чтобы получить очередной перевод от моей жены, отличавшейся смешливым нравом, в размере трёх рублей 62 копеек, ровно на бутылку водки «Московской», что неизменно веселило моих сокурсников, особенно Толю Гребнева и Сашу Черевченко.

Честно говоря, я не очень верил, что эта телеграмма что-нибудь решит в моём безнадёжном деле, но уже на следующий день я получил от жены телеграмму, что нам выделена в центре города квартира.

А события разворачивались следующим образом. Коновалов был членом бюро Саратовского обкома партии, и телеграммы ему доставлялись сразу же, как приходили на почтамт. Мою телеграмму Григорий Иванович получил часа в четыре утра, весьма ей удивился, поскольку обратился Соколов, а тот вообще редко за кого-то просил. Просьбу надлежало исполнить, но надо было разузнать, кто такой поэт Полотнянко. Для этого был телефонным звонком поднят с постели Николай Благов и призван к классику литературы всея Поволжья. Надо отдать должное, Николай Николаевич отозвался обо мне как о поэте весьма высоко.

— Что ж, добро! — сказал Григорий Иванович и стал звонить первому секретарю Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилову, и тот дал команду решить вопрос немедленно. Вызвали в горжилуправление Людмилу и прямо из окна показали квартиру на улице Карла Маркса, 12, которая уже месяцев восемь стояла пустой.

Для ремонта главный инженер горжилуправления выделил двух женщин. Одна была беременна, и мы договорились так: пусть делают квартиру до ухода беременной в декретный отпуск, но они должны были сделать ремонт, которого бы мне хватило лет на десять. И они своё обещание выполнили. Отремонтировали стены, потолок, произвели покраску, вымыли стёкла, и когда Люда вошла в огромный сияющий зал, она сказала, что квартира слишком большая для нас двоих.

— Скоро будет третий! — засмеялся я.

Так и случилось ровно через год: родилась Настенька.

На родине Павла Васильева

Человек не то чтобы лесной, я всё же люблю жить там, где растут деревья, где есть хороший бор, на худой конец милые берёзовые и осиновые колки. Но в 1970 году поехал я в отпуск к родному дяде Петру в настоящую степь на крайнем юге Омской области, где можно ехать и час, и два, и три по ровной, как стол, равнине и не увидеть ни одного деревца. Полынь, татарник, ковыль, переливающийся серебряным блеском, небольшие озёра, поросшие камышом… Небо высокое, в знойный день даль то там, то здесь лениво покачивается миражами, и кажется, что мир только сотворён, и ты один на всём белом свете.

Да, такой была степь до освоения, до распашки целины. Сейчас её перелопатили, сейчас над ней бушуют пыльные бури, сейчас вряд ли сыщешь нетронутой человеком степи, где растёт настоящий древний ковыль. И зачем?.. И хлеба доброго не вырастили, и степь исковеркали, и деревушки центральной России на окончательный разор пустили, потому что все ресурсы на освоение целины брались оттуда — и народ, и техника. А сожжённые фашистами русские деревни обезлюдели и зарастали бурьяном.

Ехал я в Патровку, деревню, основанную ещё при Столыпине «самоходами». Селение, как это часто бывает на Иртыше, протянулось на добрый десяток вёрст вдоль старицы Иртыша. Жилища — землянки да мазанки, зато немыслимое количество домашней птицы: уток, гусей, индюков, кур, которые огромными стадами расположились на широкой и пыльной улице.

Ранним утром мы с дядей Петей пошли на речку. У него в низком береге старицы было оборудовано сиденье, торчали воткнутые в воду рогульки для удочек. Я сел на доску, врытую в берег, и зажмурился. Из высокой травы, на противоположном берегу вставало нестерпимо яркое солнце. Его лучи отражались от неподвижной поверхности воды бритвенным блеском. Дядя Петя достал из ведёрка пригоршню размоченной пшеницы, кинул, и вода закипела от набросившихся на подкормку мальков. За ними стала подходить рыба покрупнее. Я забросил удочку, и вода возле поплавка сразу забурлила, а он мигом исчез под водой. Клевали чебаки, и довольно крупные. Дядя Петя ловил на мальков и добыл несколько щук и крупных окуней.

Солнце поднималось всё выше, я смотрел на противоположный берег и ничего не видел, кроме высокой и густой травы.

— Далеко отсюда до Иртыша?..

— Где десять, где все двадцать километров будет, — ответил дядя Петя. — Весной заливает. Травы здесь уйма. Всё лето коровы, лошади и молодняк там держим…

— А что и лошади есть?

— У нас кони одни из лучших в области. На скачках почти всегда призы берут.

После обеда меня разморило, и я завалился спать на сенник, где продувал сквознячок. Кричали гуси, буйствовал петух, бормотали куры, звенели сверчки, пищали ласточки, но это не помешало мне через мгновение провалиться в сон.

Отдохнув пару часиков, я попил холодного молока и опять вышел на старицу, но уже без удочек, просто пройтись и осмотреться. Дул лёгкий знойный ветерок. Высокие травы на другой стороне старицы волновались, помахивали верхушками, и мне был явственно слышен их тихий и ровный шум. Я подошёл к паромчику, небольшому плоту на проволоке, протянутой от одного берега к другому, встал на него, и через несколько минут ступил на жёсткую землю, сплошь изрытую затвердевшими, как камень, следами копыт коров и лошадей.

Я поднялся на невысокий берег и пошёл, не выбирая пути. Сразу же спугнул с гнезда утку, которая плюхнулась в воду. Из-под ног сорвалась стайка перепелов, через несколько шагов где-то рядом с места стронулась крупная птица и полетела, нелепо подныривая в полёте, и огласила окрестности своеобразным скрипучим криком.

— Чибис!.. — догадался я. И вдруг почувствовал тяжёлый мерный гул, исходящий от земли. Я взбежал на бугорок и увидел, как по травяному безбрежью на меня мчится косяк лошадей, голов в сорок. Это было завораживающее и незабываемое зрелище: кони мчались плотно сбитой группой, и от них веяло первобытной красотой и мощью. Что-то их потревожило, может оводы, но они неслись вскачь, и меня от них отделяло несколько десятков метров. Я даже не успел испугаться, я просто стоял, и шагов за двадцать табун подался в сторону и промчался мимо меня, обдав запахом травяной пыльцы и резкого пота. Добежав до берега старицы, табун, не останавливаясь, посыпался в воду, подняв клубы сияющих на солнце водяных брызг. Кони радостно ржали, трясли мокрыми гривами и хвостами, по их коже пробегала дрожь лёгкого озноба. Я понял, что они радовались жизни, эти двухлетки, ещё не знавшие упряжи и тяжёлой клади. Что ж, подумал я, хорошо, что и у них есть своё лошадиное детство, которое они, возможно, будут вспоминать, когда жизнь поставит их в тяжёлые оглобли неподъёмного воза, который им придётся тащить до конца своих дней.

Под ярким впечатлением от увиденного я шёл по берегу реки. Молодые кони, ссыпавшиеся в воду с крутого бережка, всё ещё стояли в моих глазах. В голове теснилось предчувствие того, что скоро промелькнёт стихотворная строка. Я лёг на траву и стал смотреть в белёсое от зноя небо.

— Какие роскошные места! — думал я. — Совсем недалеко отсюда Черлак, казацкая станица, воспетая Павлом Васильевым, могучим песнопевцем Иртыша. Но где Иртыш? Сгинул в Голодной степи!.. Где казаки?.. Порубаны, постреляны! Если бы не могучий талант Павла Васильева, не осталось бы от них ни слуху, ни духу.

— Мне сердце чибис криком плавил,
Когда я степью подъезжал
К станице, где Васильев Павел,
Подобно витязю, мужал…

— Николай! — на другом берегу стоял дядя Пётр и размахивал листком. — Тебя в Москву вызывают, учиться…

Дырка в газете

В 1972 году в моей жизни произошло важное событие: из коренного сибиряка я превратился в симбиряка, то есть в симбирянина или ульяновца. Причина столь разительного моего превращения была житейской: моя жена окончила Омский медицинский институт, и её направили на работу в Инзу, о существовании которой ни я, ни Людмила не имели даже малейшего представления. Меня прельстила близость к Москве, а также возможность начать семейную жизнь подальше от родни в отдельной квартире, которую молодому врачу должны были предоставить по существующему в советское время законодательству.

Лето 1972 года было очень жарким и засушливым. Особенно жарким оно было в Поволжье, где солнце испепелило почти всё. Сойдя с поезда в Инзе в конце августа, мы окунулись в знойный расплав из мелкой мучнистой пыли, которая покрывала здания, деревья и толстым слоем лежала на незамощённых улицах сонного городка. Обливаясь потом, мы дотащили узлы с вещами до камеры хранения, сдали их и пошли через железнодорожный перекидной мост в посёлок диатомового комбината, где находилась районная больница и санэпидемстанция. Там Люду поджидала, после очередного побега из столь неуютных мест молодого врача, освободившаяся должность эпидемиолога.

Двухэтажный дом, где мы поселились, находился на улице Полевой. Это западная окраина Инзы, самый край города. Квартиру нам дали однокомнатную, даже с ванной, в которой мы хранили картошку по причине отсутствия горячей воды.

Месяца два я обустраивал жилье: сделал книжные полки, приобрёл мебель, утеплил окна. Нужно было устраиваться на работу. Я зашёл в районную газету «Вперёд», места там не было и не предвиделось. Наконец, после долгих хождений мне предложили должность коменданта только что построенного здания райисполкома. Таким образом, я очутился первый раз в жизни в положении человека, каким-то образом приближенного к властям. Раньше все эти органы власти для меня были тайной, и по своей поэтической наивности я думал, что там работают какие-то особенные люди.

Где-то в начале 1973 года ко мне в Инзу заехал знакомый из Омска, капитан речного буксира Мысаков. Приехал и приехал, но этот гость притащил ко мне на хвосте наружку КГБ, которая сопровождала его из Омска в Ригу, где он предполагал поселиться.

Вкратце поясню, в чём дело. В Омске я дружил с очень талантливыми и умными людьми, которые на рубеже 21 — го века добились известности: один был избран в Госдуму, другой стал членом Верховного Суда РФ, третий — заслуженным художником России и так далее. Всего нас было человек десять — пятнадцать. Раз в неделю по субботам мы собирались в мастерских художников, на природе, у того же Мысакова на речном буксире. Никакой политики, диссидентства и антисоветской пропаганды в наших разговорах не было. Некоторые из нас начинали всерьёз заниматься литературой, на встречах читали стихи, рассказы. Художники показывали свои новые работы. Кто-то побывал в круизе вокруг Европы и делился впечатлениями. И всё.

Драматические события развернулись вскоре после моего отъезда. Оказывается, среди нас давно находился агент КГБ, который стучал. Что он там стучал, не знаю, но омские кэгэбэшники, озверевшие от скуки и отсутствия врагов и шпионов, что мешало им получать внеочередные звания и награды, набросились на нас с большим аппетитом. Надо же! Разоблачили, раскрыли, доложили в Москву. Подозреваемых стали приглашать в омский «серый дом» для бесед, ведь предъявить криминального было нечего. Конечно, мои товарищи переполошились. Дело дошло до того, что отец одного из них, герой войны, добился приёма у первого секретаря Омского обкома партии Манякина и разъяснил ему, что КГБ занимается чепухой. Это повлияло на рвение кэгэбэшников, но не очень. Машина была включена, и мы вляпались в неё навсегда. Кое-кому из Омска пришлось уехать. Поехал в Ригу и Мысаков. Из благих побуждений заехал ко мне, чтобы предупредить. А кэгэбэшная машина уже крутилась, колесики её стучали, в кабинетах составлялись планы оперативных разработок, и вся это государственная дурь хорошо оплачивалась бессловесными трудягами.

Мысаков уехал в Ригу. И вот однажды я пообедал в ресторане железнодорожного вокзала, вышел на перрон и сел на скамейку покурить. Ба! Что такое?.. Наискосок от меня сел мужчина и закрылся газетой. Всё бы ничего, но в газете была аккуратная дырка, а в дырке сверкало недрёманное око нашего инзенского кэгэбэшника. Признаться, мне в этот момент было не до смеха. Всё выглядело достаточно мрачно: комитет госбезопасности был серьёзной конторой и ломал многим и судьбы, и здоровье.

Между прочим, где-то за год до моего приезда Ульяновский КГБ тоже провёл операцию против безобидного говоруна писателя Д. Дудкина, который вёл литературный кружок на автозаводе. В

один печальный для Дмитрия Константиновича день на его занятиях появился некий любитель русской словесности, которому не составило труда подвести несдержанного на язык и увлекающегося писателя к оглашению письма А. Солженицына к съезду писателей в присутствии кружковцев. Провокация удалась: ловушка захлопнулась.

Дмитрию Константиновичу на бюро обкома партии влепили строгий выговор и запретили вести занятия с молодыми литераторами. Самих кружковцев тоже таскали на улицу Л. Толстого, но без последствий: пожевали и выплюнули.

Любитель изящных искусств из чугунных ворот КГБ получил внеочередное звание и повышение по службе в другом городе.

Литературный могиканин

Во время моей учёбы в Литинституте его ректором был Владимир Фёдорович Пименов, личность в своём роде легендарная, поскольку, обитая более сорока лет в очень опасной литературной среде соцреализма, сумел не только уцелеть, но и постоянно находился на ответственных должностях. Кажется, он был какое-то время главой Главного репертуарного комитета, который доставил много хлопот Михаилу Булгакову, возглавлял журнал «Театр», осуществлявший вторичную цензуру поставленных театрами спектаклей. Утвердиться на таких постах в то время было очень непросто.

В советское время драматургами становились единицы. И дело не в таланте. Нужны были пьесы, которые соответствовали идеологическим установкам, чтобы одновременно в них присутствовали признаки реальной жизни, а после XX-го съезда партии, даже лёгкая критика, даже фрондёрство. Всё это сочетать было нелегко. Непросто было писать критические статьи о советской драматургии: авторы известных пьес, получивших признание в партийной верхушке, принадлежали к касте неприкасаемых. Пименов, однако, умел написать пространную статью, которая не была очевидной глупостью, но и не блистала оригинальностью. Словом, умел учитывать баланс сил. А драматургия, ко всему прочему, приносила авторам очень большие гонорары. А это не пустяк в нашей быстротекущей жизни.

Ректор В. Пименов вёл в Литинституте семинар по драматургии. Слушателей у него было человек пять-шесть. Среди них был ныне известный детский писатель Гриша Остёр, но о нём стоит писать отдельно. Была странная девица, весьма миловидная, ходившая в кожаных штанах. Она в общежитии занимала отдельную комнату и никого к себе не пускала, даже однополых с ней существ. Столь странное поведение драматургички открылось во время очередных всенародных выборов. В общежитии был избирательный участок, и вот однажды на граждан, спешивших отдать свой голос, сверху полетело… Дежуривший служивый из госбезопасности ринулся на третий этаж, вломился в комнату драматургички и обнаружил явные следы её антисоветской деятельности. Эта эксцентричная особа была такой чистюлей, что брезговала посещать общий туалет. Раздувать это дело не стали, но девица в Литинституте больше не появлялась. Но вряд ли с ней случилось что-то плохое.

Владимир Фёдорович был добродушным человеком, даже с

юмором. Одалживал студентам деньги. Один студент нашего курса, прослышав об этом, подошёл к нему и развязно сказал, не следя за своей речью:

— Владимир Фёдорович, займите двадцатчик…

Пименов достал туго набитый купюрами бумажник, открыл карманчик для мелочи и вручил студенту двадцать копеек, то есть «двадцатчик». Просьба была сформулирована неверно, нужно было сказать «двадцатку», тогда бы он получил двадцать рублей.

Студенты пития хмельного не чуждались. Застолья в общежитиях были рядовыми явлениями. Сколько было стихов прочитано во время этих пиршеств, сколько высоких слов сказано, да — было!.. Ректор относился к этим попойкам в духе поэтического гусарства снисходительно, возможно, даже по-доброму завидовал нам, не потерявшим надежду на свой талант и удачу.

Я сидел на скамейке в литинститутском сквере. Смотрю, ко мне идёт Владимир Фёдорович.

— Там на ступеньках редакции журнала «Знамя» валяются пьяные граждане. Возможно, наши студенты. Сходи, посмотри.

Я вышел на Тверской бульвар. И точно, на ступеньках редакции общесоюзного журнала похрапывали поэт из Новомосковска Володя Болохов и критик из Ленинграда. Бедняги изо всех сил стремились попасть в институт на занятия и не дошли каких-нибудь двадцать метров, но старались и лежали головами в сторону института. Пименов, конечно, их знал, но он никого не наказывал. Охотно давал академические отпуска, и некоторые, например, поэт Саша Черевченко, заканчивали институт спустя десять и больше лет после поступления.

Внешне Владимир Фёдорович выглядел очень импозантно, даже величественно, как памятник самому себе. Казался непробиваемым, защищённым от всех невзгод, но что творилось внутри у могиканина минувшей литературной эпохи, никто не знал.

Писательские рокировки

С первых же дней работы в «Ульяновском комсомольце» я обратил внимание на приходящего к нам каждый день человека. Он был со всеми знаком, разговаривал тихо и мало, и другие, даже такие шутники и любители розыгрышей как А. Захаров и А. Галагоза, разговаривали с ним тихо и бережно, как с выздоравливающим больным. Этой приходящей фигурой был ответственный секретарь ульяновской писательской организации поэт Владимир Иванович Пырков.

Благов подавлял Пыркова и своей фактурой, и своим громоздким талантом. Перед любой благовской строчкой стихи Пыркова блекли и вяли. И Владимир Иванович знал об этом. Можно только представить, как он страдал от того, что его дарование было совершенно другим — очень лиричным, проникновенным.

Со стороны противостояние Благова и Пыркова выглядело забавно. Когда Благов жил в Саратове, Пырков благоденствовал в Ульяновске. Где-то в 1976 году Благов возвращается в Ульяновск, Пырков срочно покидает пост ответственного секретаря писательской организации и уезжает в Саратов. Я хорошо помню это отчётно-выборное собрание.

Перевыборы происходили в доме Минаева, который до сих пор влачит жалкое существование. Пырков всех удивил! Мало того, что он долго и нудно говорил о проделанной работе, как это было принято в советское время, он дал каждому писателю характеристику, вроде «объективки», которые пишут кадровики. Дойдя по алфавиту до буквы «П», он бесстрастно отчеканил: «Полотнянко Николай Алексеевич. В организации недавно. Очень талантлив, но гусарит. Я бы посоветовал ему быть сдержаннее…» Вот такую блямбу поставил тишайший Владимир Иванович на моё личное дело. «Гусарит» означало, что пьёт, ходит по кабакам, горланит в мастерской скульптора Василия Шеломова старинные русские песни. — так это понял я. А вот что поняли присутствующие на собрании секретарь обкома партии В. Сверкалов и зав. сектором печати обкома М. Никитин?..

Объявили перерыв и мы вышли покурить на улицу. Сверкалов (у него была такая лицемерная привычка) кинулся ко мне чуть ли не обниматься, выпалил несколько комплиментов, потом отшатнулся, подмигнул и спросил: «Значит, гусаришь?» Представляю, скольких людей он своими издёвками заставил хвататься за сердце. Но я — поэт, что мне был Сверкалов, поэтому я и ответил: «Красиво жить не запретишь, Владимир

Николаевич!» У М. Никитина от такого ответа отвисла губа, а Сверкалов сразу потерял ко мне всякий интерес.

Со Сверкаловым я уже был близко знаком. Случилось это на районной отчётно-выборной комсомольской конференции Цильнинского района. Я вышел покурить, он попросил у меня огоньку.

— Что-то я тебя не знаю, — сказал он.

— Работаю в «Комсомольце», корреспондент, — представился я.

Он оценивающе на меня посмотрел.

— После ужина домой поедем вместе.

Итоги конференции обмывали в ресторанной «боковушке». Водка лилась рекой, звенели бокалы, раздавались приветствия в адрес высокого гостя, пили на брудершафт и «через руку», и «через ногу».

Подвыпивший шофёр гнал «Волгу», а пьяный Сверкалов с какой-то стати нахваливал меня, какой я хороший поэт и блестящий журналист.

Возле моего дома он вышел из машины.

— Ты дома-то пьёшь?

— Если есть причина, почему не выпить? — довольно развязно сказал я.

— Молодец, — усмехнулся Сверкалов и, открыв багажник, одарил меня двумя бутылками водки «Посольская».

Через несколько дней я встретил Пыркова и спросил, зачем он в докладе начал давать характеристики.

— Да это не я, Николай! Доклад смотрели в обкоме и приказали дать каждому писателю характеристику.

— Значит, писал ты?

Он глядел на меня виноватым взглядом нашкодившего первоклассника.

Благов стал писательским начальником, а Пырков, под зубовный скрежет супруги, коренной ульяновки, перебрался в Саратов. Слава невредного человека помогла ему стать зав. отделом поэзии «Волги», получить хорошую квартиру.

В журнале «Волга» я уже печатался при Благове, послал стихи в надежде, что Пырков порадеет родному человеку. Ан нет!

Но вот Н. Благов стал главным редактором журнала «Волга», и Пырков уже, кажется, один сбежал в Ульяновск. Работал в комсомольской газете, до опупения играл в шахматы, наконец, дождался, что Благов приехал в Ульяновск уже навсегда. Уехал навсегда в Саратов и Пырков.

Так закончилась длительная рокировка двух писателей.

Мне кажется удивительным, что на Владимира Пыркова в его

становлении и развитии никак не повлияла Великая Отечественная война, которую он встретил шести-семилетним мальчуганом. Недавно я перечитал его книгу лирических миниатюр в прозе, порой очень тонких и прочувствованных. Встречаются и подлинные шедевры.

Но вот что любопытно: шла война, для мальчишки его возраста было бы закономерным сопереживать фронтовым событиям, но война как бы обошла Пыркова стороной. Из домика на Венце он смотрел на Волгу, любовался плесами, поймой, озёрами.

Может быть, эту способность устраняться от корневых событий жизни и имел Николай Благов в виду, когда говорил: «Пырков дальше удочки ничего не видит!»

День несчастий

Наверное, у каждого в жизни бывает день, на который выпадает сразу несколько неприятностей. Таким для меня был день 11 мая 1980 года. С утра меня вызвали в обком партии к зав. сектором печати и телевидения Михаилу Никитину. Я миновал милицейский кордон, поднялся на третий этаж. Никитин, уже извещённый милицией о моём приходе, был не один. В углу кабинета сидела над газетной подшивкой женщина. Я догадывался, о чём пойдёт разговор, но Никитин начал издалека:

— Какие у вас жилищные условия?

— Двухкомнатная квартира…

— Как семья?..

— Нормально…

Затем зав. сектором извлёк из ящика стола чистый лист бумаги.

— Ну, где вы работаете?..

— Нигде…

Конечно, он прекрасно знал, что я работаю в военном училище. Но он решил поиздеваться:

— На что же вы живёте?..

— Разве так живут? — я повысил голос, и женщина в углу вся обратилась в слух. Никитин пригласил её в качестве свидетеля. — Ваш обком отправил в издательство «Современник» по своей инициативе письмо с требованием не печатать мою книгу. Я написал в ЦК партии.

— Ваше письмо из ЦК переслали в обком. Мы уже послали в ЦК негативный ответ.

Мне сразу стало противно и скучно. Я резко поднялся со стула.

— Слушай ты, вятский с краденым армянским дипломом. Пройдёт ещё немного времени, и я буду, если захочу, на твоём месте, а ты будешь трястись пузом от страха с этой стороны. Понял?

Я вышел и резко хлопнул дверью. О разговоре с ним Никитин никому не сказал. А вот то, что я хлопнул дверью да ещё в таком месте! Так и пошло по городу: «Полотнянко дверью в обкоме хлопнул!»

Через полчаса на главпочтамте я писал письмо в ЦК КПСС. «Вам нужен ещё один враг, — спрашивал я товарища Леонида Ильича Брежнева, который, конечно же, моего письма не увидит. — Прикажите обкому партии Ульяновской области оставить поэта в покое. Пусть не лезут к нему в душу

сапожищами. А директор издательства «Современник», разве он подчинён нашим обкомовцам?.. Он не прав и пусть в срочном порядке издаёт мою книгу «Просёлок».

Отправил письмо с уведомлением, хотя знал, что где надо — его прочтут и даже скопируют. Ну и чёрт с ними! Я — не иерусалимский дворянин, чтобы бежать.

Вышел на улицу, покурил, решил заглянуть в Союз писателей. Там уже всё известно, а мнение обкома для них непререкаемо, но лучше увидеть поведение вроде друзей самому. В Союзе застал Благова, Мельникова, Галагозу. У них идея — выехать в лес, отдохнуть. Позвали и меня.

Николай Благов, уже в лёгком подпитии, сразу обнаружил детальное знакомство с моим делом.

— Обком партии — это сила! Сверкалов не успокоится, пока не уничтожит тебя. Чем ты его достал?..

— Не упал сразу перед ним на колени, не поцеловал ботинок…

В дубовом леске парка «Победы» мы выпили, и Благова развезло. Он кинулся на меня, облапил, попытался повалить на землю. Я захватил его руки и, прогнувшись назад, бросил его через грудь. Это страшный бросок для человека, который не может смягчить удар об землю. Взглядом я проследил, как тело Благова описало в воздухе дугу и с шумом упало на землю. И тут я похолодел от страха. Голова Благова коснулась земли буквально в сантиметре от срубленного наискосок, острого, как нож или копьё, комелька дубка. Ещё какой-нибудь сантиметр и голова Благова раскололась бы, как арбуз. Николай стал подниматься, он уже не помнил, почему оказался на земле, а я думал, что эту смерть мне бы не замолить, и в этот день могли погибнуть два поэта. Но Бог не допустил.

Моё второе письмо в ЦК КПСС вызвало в обкоме партии замешательство. Ко мне домой (а в квартире пар от стирки, мокреть) приехал зам. зав. отделом пропаганды Митричев. Мило беседовал, осмотрел моё жилище и пригласил меня через неделю прийти к Ю.А. Ромбовскому, заведующему отделом. Впоследствии он в 1990-х годах был редактором «Ульяновской правды», и я опубликовал у него много публицистических статей в защиту России и здравого смысла.

В своём кабинете Ромбовский со мной не разговаривал.

— Пойдём к секретарю обкома Сверкалову…

— Он меня не примет, — уверенно сказал я.

— Пошли.

Ромбовский оставил меня в обкомовском коридоре, а сам зашёл в секретарский кабинет. Находился он там около часа.

Вышел злой, какой-то растрёпанный и буркнул:

— Можешь идти!

Через неделю я получил письмо из редакции издательства «Современник» от Л. Асанова, который сообщил, что моя книжка «идёт в набор вне очереди». Мне стало ясно, что мои дела поправились. И действительно, книжка «Просёлок» была издана за несколько месяцев тиражом 10000 экз. и даже побывала на книжной выставке в Болгарии.

Но отношение ульяновских властей ко мне ничуть не изменилось.

Конечно, я, используя этот случай, мог бы стать в начале перестройки видной жертвой режима. Можно было описать свои страдания, назвать виновников, потребовать сатисфакции, то есть удовлетворения. Только это всё было мне ни к чему. Надвигались страдания для всей России: развал 1000-летнего государства, поголовная государственная измена всех руководителей страны, всех, кто принимал военную присягу, Россия начала набухать кровью и дерьмом… Что до того, что какой-то партийный дуболом когда-то решил заткнуть рот поэту. Это ли трагедия по сравнению с теми вулканическими процессами, которые стали терзать и крушить Россию?.. Против неё началась война, и я боролся за свою Россию словом.

Мои заклятые друзья

В Ульяновске я окунулся в понятную для меня атмосферу людей творческого труда — художников, писателей. Но, оказалось, были живы и неуёмно, как мурашики, трудились другие люди. У них были свои цели, задачи и, соответственно, силы и средства.

Однажды прихожу на работу раньше всех, сунулся к редактору Гене Лёвину, а тот злой, как бобик, взъерошенный.

— Свалился ты на нашу голову, такой хитро-мудрый! Теперь вот и стопарика не выпьешь, всё будет известно.

— Что, кэгэбэшники? — догадался я.

— Они, родные! Чем ты им насолил?

— Коту делать нечего, так тот яйца лижет, а эти — блох ловят.

— Ну, раз ты такой умный, то дуй к Горячеву!

Делать нечего. Пошёл к Юрию Фроловичу Горячеву, он тогда был последний год первым секретарём обкома комсомола. Зашёл. Он посмотрел на меня и говорит:

— От этих обалдуев правды не добьёшься, за что они на тебя ополчились. Да они и сами не знают, поди, ничего. Я на бюро обкома партии переговорю с генералом Назаровым, председателем КГБ, а ты приходи через две недели. Мне кажется ерунда какая-то. Иди, работай!

Пришёл в редакцию. Лёвин спрашивает, как дела. Отправил работать, говорю.

— Ну что ж, — благодушно заметил редактор, — будем ждать ареста.

Ясно, что оперативная разработка вокруг меня шла полным ходом, вокруг крутились люди, но все свои — из редакции, значит, сексоты были давно там, где их не было, вот только кто? Я, конечно, недолго вычислял стукача, тем более он был беспартийным и самым компанейским парнем в редакции. Называть его имя не буду: ему уже давно воздаётся по делам его, но меня беспокоило другое. Вот взять, например, меня. Я с молоком матери, с грохотом войны всосал в себя любовь к родине, я — поэт, а поэт по определению предателем не может быть, а тут вокруг меня шелестение хвостов, шарканье крысиных ножек. Б-р-р!..

Через две недели пошёл к Горячеву. Тот доволен, улыбается:

— Генерал о тебе самого высокого мнения. Просил передать, что стихи твои ему очень нравятся. Иди, работай…

— Не знал, что наш генерал стихами интересуется, —

засомневался Лёвин. — Спортом интересуется, классическая борьба у нас знаешь какая!

— Они поначалу стихами интересуются, а потом и поэтами. Ам! — и свита спешит узнать, не подавилась ли щука?

— Не дури! — помрачнел Лёвин. — Они ведь Салтыкова-Щедрина не читали. А так оставят в покое.

— Нет, дорогой Геннадий Семёнович, не оставят. Раз попал в разработку, то будешь в ней до смерти. А то ещё и после смерти придут бумаги изымать. Машина!

* * *

Где-то на год меня оставили в покое. Я получил квартиру, съездил в отпуск в Омск и почти никого не застал из прежних знакомых. Все разбежались. Кто в Киргизию, кто в Москву, кто уцелел, но особого удовольствия от встречи со мной не испытывал. Да и меня слишком засосала моя проклятая любовь — поэзия, чтобы у меня не было времени думать о том, как какому-нибудь кэгэбэшнику помочь получить звёздочку на погоны.

И вот осенью 1975 года сидим мы с Галагозой и пьём вино в его фотолаборатории. Раздаётся телефонный звонок, это ко мне.

— Здравствуйте! Я тут проездом… Вы знаете Мысакова?

— Знаю! А что?

— Он для вас подарок передал. Книгу. Не могли ли вы подойти в гостиницу «Волга» в номер.

А нам как раз с Сеней за вином идти надо. Заходим в гостиничный номер, там полутьма, скомканные простыни.

— Где подарок?

— Какой?

— Книга.

— Не знаю, я сейчас только зашёл сюда.

Ясненько. Если бы я пришёл один, мне бы всучили какой-нибудь компромат. Могли дать книгу с наркотиком. И вот уже готовый стукач. Тем более, что в номере был зам. Назарова, полковник, которого я уже знал: город мал. Словом, повезло мне, сорвался пескарь премудрый.

* * *

Вот ведь беда какая: не отстали назаровские молодцы от меня. На этот раз вызвали повесткой в военкомат. Решили не юлить, а сразу поставить точку. Видимо, уж больно я их

заинтересовал. В оббитую железным листами комнату вошёл полковник КГБ, назовём его условно Иванов. Поздоровался, показал удостоверение и сразу в лоб — предложение о сотрудничестве.

— Я бы с полным удовольствием, — отвечаю я полковнику, — только не могу. Я в другой организации состою.

— Это что за организация?..

— Коммунистическая партия Советского Союза. И вот если парторганизация, где я состою на учёте, даст мне задание сотрудничать с организацией КГБ, то я буду сотрудничать не за страх, а за совесть.

Полковник загрустил.

Но не удержался от вопроса:

— На Суре какой-то художник балует, нагишом купается…

— Не знаю.

Больше на меня не наседали. А могли бы. Но у меня был искренний доброжелатель — генерал Владимир Александрович Турчинский. Я ушёл в военное училище, и мужики из особого отдела вели себя по отношению ко мне очень прилично: и сами не приставали, и других отваживали. Благодаря им, я прожил спокойно с 1978 года до 1988 года, когда в стране начался перестроечный бедлам, в котором на сегодняшний день победителями оказались мои давние заклятые друзья.

Живут же люди

Мы приехали в Инзу с одними книжками и постельным бельём, и поэтому нам пришлось заводить домашнее хозяйство буквально с ложки. Люда пошла на работу, а я (до отъезда в Москву на сессию устраиваться на работу не имело смысла) с утра обходил магазины и покупал вещи, из которых собственно и состоит дом: посуду, то есть тарелки, поварёшки, бокалы для чая, сам чайник, также плюс ещё заварочный, кастрюлю суповую и две поменьше, две сковородки, вилки, ложки, ножи, бельевую верёвку, прищепки и ещё много всякой мелочи, необходимой в житейском обиходе.

И, конечно, в первые же дни мы купили мебель, прежде чем окончательно переехать в новую квартиру. Если располагать эти покупки по рангам, то есть по значению, то первенствовала несомненно двуспальная диван-кровать, тяжеленное и прочнейшее деревянное сооружение, стягиваемое двумя мощнейшими пружинами, тугая, как барабан, но чрезвычайно прочная — хвала инзенским мебельным дел мастерам. Не менее прочными оказались стол и шифоньер из натурального шпона, кандидаты в раритеты, до сих пор украшающие мой кабинет. Четверть века назад мы купили уйму всякой мебели для заполнения новой, четырёхкомнатной квартиры, но по сравнению с инзенскими покупками они выглядят неказисто, хотя на них имеется много разных прибамбасов: железячек, нашлёпок… только к чему всё это?.. Испокон веков встроенные ящики делались из деревянной фанеры, прочной, как облицовка истребителя И-16. А ящики в новой мебели, производства Ульяновского мебельного комбината, сделаны из пластмассы. Конечно, при малейшем перекосе они ломаются и приходят в негодность.

Закупив самое необходимое, мы поняли, что холодильник не купить. Их просто не было в продаже. Они стояли в магазине, но они не продавались всякому обладателю денежных знаков. К деньгам нужна была ещё сопроводиловка, что сей покупатель является передовиком производства или ещё чем-то выдающейся от прочих людей личностью, и он в порядке поощрения имеет право приобрести холодильник, или шесть гэдээровских стульев, или пылесос «Буран», или ковёр шерстяной 1 м х 2 м, или…

И вот я стою перед председателем райисполкома и мямлю, что жена молодой специалист, нужно бы холодильник заиметь. А Тюгаев смотрит на меня, смотрит, да как рявкнет:

— У меня доярки холодильниками не обеспечены!

Вскоре я переехал в Ульяновск и вот в обед встречаю в ресторане «Волга» на комплексном обеде бывшего инзенского предрика. Знаю, что его и первого секретаря райкома партии сняли, а сейчас они выжидают новые номенклатурные места. Иван Кузьмич весел, доволен жизнью, хотя должность пока не ахти, завхоз ГПИ-10. Но через полгода слышу: один районом командует, другой всем ульяновским спиртом. Жили же люди! Вот так страну и прожили. Кстати, ни один из них не воевал на фронте: отирались в НКВД.

Добавлю по теме ещё один случай из жизни. В Инзенском районе есть село Черёмушки, раньше его, говорят, не очень прилично называли. Так вот приехал я в это село написать о молодой доярке — передовике производства. На ферме сказали, что она дома. Редакционный уазик едва дотащил нас по грязной дороге к хате передовой доярки. Мы с фотокором постучались в ворота, — открыто, входим во двор — никого нет, дверь в хату открыта. Входим — святые угодники! На полную громкость орёт цветной телевизор. На мягкой германской кровати лежит хряк и смотрит телепрограмму. В грязь на полу втоптан импортный ковёр. Взглядом окидываю буфет: полон хрусталя, дорогой посуды. Живут же люди!..

Сорок лет прошло с тех пор, может всё изменилось.

Грачи прилетели

Эту известную всякому мало-мальски образованному русскому человеку фразу, ибо это название картины русского художника Александра Саврасова, в совсем новом и необычном контексте я услышал от инспектора по оргнабору рабочей силы в отдалённые районы СССР Николая Васильевича. Да, он именно так серьёзно, без всякой ухмылки и произнёс: «Грачи прилетели!..»

— Это точно! — подхватил охотовед Орехов. — Сёдни зашёл в ресторан кружечку бархатного вешкаймского испить, гляжу, а в боковушке для начальства два грача гыгычут. Прилетели, точно прилетели…

Я никак не мог взять в толк, о чём говорят охотовед и инспектор. О каких грачах?.. Стояла середина февраля, в широкие окна райисполкома барабанила настоянная на почти сорокаградусном морозе метель, а тут откуда-то взялись два грача, да таких, что оккупировали ресторанную боковушку, в которую доступ был от председателя колхоза и выше. Но то была номенклатура.

— А коржевский профессор был?.. — поинтересовался Николай Васильевич.

— Был вместе с председателем райпотребсоюза.

— Ну вот, — удовлетворённо засмеялся Николай Васильевич. — Значит, первые гонцы весны явились, на крыльях весну принесли. Теперь уже точно скоро таять начнёт. Готовь охотовед ружьё для нашего коменданта (то есть меня), скоро поедем на тягу, вальдшнепов слушать.

— А что за грачи? О ком вы толкуете?..

Мои сослуживцы по райисполкому переглянулись, охотовед подошёл к двери и запер её на ключ, а Николай Васильевич ловко одной рукой открыл чекушку, разлил водку по стопарикам, мы выпили, открыли дверь, закурили, и Николай Васильевич заговорил, сторожко поглядывая на дверь.

— До весны всего неделя осталась. А весна, это не только посевная, но и начало строительства. В каждый колхоз и совхоз деньги выделены: там ремонтную мастерскую надо достроить, там ферму сварганить, там клуб или другой культурный очаг, здание электроподстанции…

— А дороги! — воскликнул охотовед. — У нас асфальт держится полгода, не больше, каждый год класть надо новый.

— Государство у нас богатое, — продолжал Николай Васильевич, — а рабочих рук не хватает. Вот и летят к нам с юга

грачи, а за ними бригады шабашников подтягиваются из Армении, Дагестана, Чечни, словом, оттуда.

А дело было в Инзе, в 1973 году. В городке был древзавод, диатомовый комбинат, ещё несколько предприятий, работали они ни шатко, ни валко, заработки на них были мизерные, и, конечно, мастеров на все виды строительства можно было набрать тут же в Инзе на привокзальной площади.

— Эта, брат, политика не устраивает тех, кто распоряжается деньгами, — пояснил Николай Васильевич. — Я, вот, даром что однорукий, я плотник и столяр хоть куда. Ты дома у меня был?.. Значит, видел, что я умею. А пенсионеры?.. Худо ли за лето тысяч пять-шесть заработать. Так не дают. Ни русского, ни татарина, ни мордвина, ни чуваша не допустят к денежной работе. А вот армянина, чеченца целыми бригадами трамбуют.

— Значит, эти грачи прилетели, чтобы организовать фронт работ?

— А зачем же?.. Сейчас главное ухватить денежные объекты, сечёшь?

— Нет, — честно признался я.

— Ну, ты как будто только что из кадушки вывалился, — засмеялся Орехов. — Сейчас идёт делёж денег. Грач говорит: строю ферму за половину сметы, точно к сроку. Другая половина напополам: одна председателю колхоза, другая прорабу, то есть ему, грачу.

— А коржевский профессор причём, да и кто это? — вспомнил я промелькнувшее в разговоре упоминание о какой-то незаурядной личности, попавшей в почти неприступную боковушку.

— Это, брат, человек из легенды. Перед ним разведчик Зорге ребёнок.

— Что, он разведчик?

— Какой разведчик. Обыкновенное лицо кавказской национальности. Да пусть лучше Николай Васильевич расскажет, он партийный, а на партсобраниях профессора не раз пропесочивали…

— Что было, то было. Меня по ранению демобилизовали. А кому в Инзе нужен лётчик без руки?.. Вот и определили сюда в райисполком. А «профессор» объявился у нас в 1946 году. За ним и дело на него пришло в НКВД. Мне тогдашний начальник райотдела и приоткрыл его подноготную. Словом, присвоил, наш «профессор», будучи ротным санинструктором, диплом убитого на поле боя военврача. Фамилии у них оказались схожими. А тут отступление, наши драпали к Сталинграду в 1942 году, неразбериха. Приткнулся в медслужбу санитарным врачом,

вошебойками командовал, и к концу войны стал ажно начальником санитарной службы общевойсковой армии. Полковник, едрит твою в корень!.. А после войны сразу началась кадровая проверка: кто таков, откуда диплом. Он под трибунал угодил, но тут всем, кто химичил, прощение вышло, уж больно много их набралось, десятки тысяч липовых офицеров. Вымели их из армии, а он с женой явился к нам в Коржевку, она родом оттуда. Устроился в участковую больницу и повалил к нему народ, старухи особенно. Вот они и окрестили его «коржевским профессором».

Подивился я немало на этот случай, но вскоре переехал в Ульяновск, стал работать в комсомольской газете, которую в начале 90-х годов тоже один прилётный «грач» приватизировал. Но сначала закончим о строителях. Каждую неделю я бывал от газеты в командировках то в одном, то в другом районе области, и в каждом колхозе видел бригаду «прилётных» строителей. Работали они вроде неплохо: и стены ровные выводили, и асфальтировали дороги, правда, таким тонким слоем асфальта, что он наматывался на колёса грузовиков и держался всего несколько месяцев. Но это всё была видимость хорошей работы, поскольку в её основе лежала туфта и надувательство.

Вот, хотя бы один пример. Перед инзенским райисполкомом при мне закатали асфальтом большую площадь. Весной этот асфальт уплыл вместе с водой. Года через четыре я встретился в Сурском с председателем колхоза, которому в августе во время уборки приспичило ехать в отпуск на Чёрное море.

— Юг денежки любит…

Он ухмыльнулся и достал из портфеля пять пачек десятирублёвок, всего пять тысяч рублей.

— Мой грач узнал, что я отдыхать собрался и, заметь, без моей просьбы, приволок в клюве на карманные расходы.

Но вот ведь какое дело: бдительная милиция на моей памяти никого не схватила за руку. Сейчас воруют с аппетитом, открыто, тогда воровали келейно, по-тихому. У каждого времени свои жулики.

Чревовещатель

В начале 1970-х годов КПСС озаботилась проверкой своих рядов — началась кампания по обмену партийных билетов. Подобные мероприятия проводились и раньше, но тогда это была не просто замена одних бумажек на другие, а самая настоящая чистка рядов. И партийцы, и беспартийные могли выдвинуть претензии, а то и обвинения против любого члена партии. Например, на председателя Госплана А. Вознесенского, расстрелянного в конце 1940-х годов, обрушилась уборщица с обвинениями, что он невнимателен, порою груб с низшим персоналом. И член ЦК ВКП (б) публично каялся. Вот такие были ужасы. Хотя для жанра короткого рассказа цитирование вряд ли уместно, рискну сделать выписку из «Краткого курса истории ВКП (б)»:

> «Огромное значение в этот период имела чистка партийных рядов от примазавшихся и чуждых элементов, начатая в 1933 году, в особенности же — тщательная проверка партийных документов и обмен старых партийных документов на новые, предпринятые после злодейского убийства С.М. Кирова.
>
> До проверки партийных документов во многих партийных организациях партии царили произвол и халатность в обращении с партийными билетами. В ряде местных парторганизаций был вскрыт совершенно нетерпимый хаос в учёте коммунистов, чем воспользовались враги для своих гнусных целей, используя партбилеты в качестве ширмы для шпионажа, вредительства и т. п.».

Проверка партийных документов закончилась в 1936 году, а уже на следующий год начались репрессии. В первую очередь были расстреляны те, кто был вычищен из партийных рядов в ходе компании по обмену партдокументов. Сейчас принято осуждать репрессии, но, несомненно одно: Сталин очистил партию от тех, кто помнил, как проводились партийные дискуссии, что такое плюрализм мнений и прочие вольности по отношению к вождям пролетариата в первые годы Советской власти. Репрессии позволили Сталину построить большевиков в одну семисоттысячную колонну, где все бодро шагали в ногу и только туда, куда их посылал Сталин мановением руки.

Железная дисциплина в партии сохранялась по инерции и

после смерти Сталина, но уже к концу 1960-х годов стали заметны явные признаки разложения верхушки КПСС. Был утрачен и спрос за преступления, которые совершались в больших масштабах. В южных республиках выставлялись на торги должности первых секретарей обкомов партии, первых секретарей райкомов партии, руководителей правоохранительных органов, торговли, местной промышленности, руководителей колхозов и совхозов. Рабочих и колхозников в партию загоняли, чуть ли не силком, но на приём в КПСС представителей интеллигенции существовали квоты. А партийным быть необходимо было тем, кто стремился сделать карьеру. В ход шли подкуп и блат, лишь бы получить вожделенные красные корочки.

В конце концов, напринимали столько, что запутались в учёте партийцев, и других целей, кроме подсчёта коммунистов, у этого суетливого мероприятия по обмену партбилетов не было.

Ещё больший беспорядок был в комсомоле. ЦК ВЛКСМ никогда точно не знал, сколько у него комсомольцев и, после обмена партбилетов, началась кампания по обмену комсомольских документов. Комсомол все свои приёмы и повадки копировал с партийных организаций. Сначала районные комсомольские вожаки вручали комсомольские билеты лично и в торжественной обстановке, потом пошла писать губерния.

И вот я приехал в Барыш в райком комсомола. Захожу в кабинет первого секретаря райкома комсомола Николая Расторгуева и вижу шеренгу молодых людей, которые уставились в угол комнаты. Оттуда раздавался уверенный голос комсомольского вожака района: «…Вручение комсомольских билетов нового образца должно нацелить вас на новые успехи в социалистическом соревновании. Будьте достойными продолжателями героических подвигов комсомольцев Магнитки, Днепрогэса, целины и БАМа.»

Голос Коли Расторгуева достиг пафосных высот, но его в кабинете не было. За его столом сидела инструктор райкома, перед ней лежала стопка комсомольских билетов. На тумбочке в углу стоял магнитофон.

«Вот это учудил, — подумал я, еле сдерживая смех. — Секретаря райкома нет, но он вроде и есть. Интересный фокус с чревовещанием».

Молодые доярки и трактористы получили новые комсомольские билеты. Никакой радости, даже оживления на их лицах я не заметил. Они в своё время вступили в комсомол, зевали на собраниях, платили взносы. И всё это делалось ими потому, что поступать иначе было нельзя.

«Паровоз» на Венце

Конец улицы Гончарова, выходящий к Волге, всегда привлекал к себе внимание архитекторов, уж очень благодарное это было место для возведения скульптурного ансамбля, увековечивающего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. К 1965 году не сумели сделать, помешала организационная партийная неразбериха, устроенная Н. Хрущёвым, но 30-летие Победы было решено ознаменовать возведением монумента Славы. В работе над его проектом принимал участие первый секретарь обкома партии А. Скочилов. Было у него влечение к искусству. Весьма сведующие люди говорили мне, что «хозяин» посмотрел на принесённый ему на утверждение проект, затем взял карандаш и воздвиг шпиль. Архитектор поблагодарил А. Скочилова за удивительно смелое решение архитектурного памятника и, пятясь задом, выполз из кабинета.

Важным элементом памятника была скульптурная группа, расположенная на левой стороне, если смотреть на Волгу. Этот шедевр создавался на моих глазах Р. Айрапетяном. Это была группа кое-как вооружённых людей, тесно стоящих друг к другу и имитирующих движение вперёд. Плечи солдат были сомкнуты, утолщены и, увидев ещё рабочую модель, я подумал, что солдаты с большим усилием несут куда-то тяжеленную балку.

Василий Шеломов стоял рядом и неодобрительно смотрел на рабочую модель.

— Паровоз!.. — презрительно молвил он. — И такую хреноту хотят поставить на лучшее место в городе!..

Пришёл Рафик Айрапетян, стал переодеваться для работы, Василий ушёл, а я остался.

У Айрапетяна была странная суетливая манера лепки. Шлёпнет, мазнёт в одном месте, потом в другом. Затем отступит и пристально рассматривает работу, даже ладошку к бровям приложит. Иногда сядет на табуретку, иногда на корточки. Словом, горел на работе.

Заказ ему достался богатый и престижный. Чтобы его отдать своему сокурснику по Рижской академии, Алексей Моторин ловко развёл остальных скульпторов: Анатолию Клюеву дали заказ на большой памятник из бетона в Николаевке, Василию Шеломову — «бетонный» заказ в Димитровграде. Никем не оспариваемый памятник на Венце в благородном материале достался Р. Айрапетяну.

После нескольких неудачных попыток Р. Айрапетян с трудом,

но протащил свой «паровоз» через приёмную комиссию. Затея скульптора была вылеплена в натуральную величину в глине, опять была со скрипом одобрена комиссией, и затем с неё сняли гипсовую форму, которую отправили на литейный завод Художественного фонда. Специалисты завода дотянули памятник до приемлемого уровня, но недостатки, заложенные в него автором, поправить не смогли.

Несмотря на внушительные размеры, памятник кажется приземистым. Когда за Волгой встаёт солнце, вся скульптурная группа смотрится чёрной глыбой, в ней невозможно выделить составляющие фигуры. И это происходит от того, что памятник оказался никак не сопряжённым с небом, с тем огромным пространством, которое открывается с Венца.

По образцам искусства можно судить о самочувствии государства. Так вот этот «паровоз» как эстетическая данность свидетельствовал, что советская формация переживала обвальный кризис и в экономике, и в области духа. И работа Р. Айрапетяна вполне соответствовала эпохе.

Буфетчица из РПУ

Скажу сразу, что РПУ расшифровывается просто — это ресторан против универмага в Инзе. Во всяком случае, так его называли в начале 1970-х годов. Как говорится, и я там был и тёмное вешкаймское пиво пил, и по усам текло, и по бороде, и в рот попадало. Конечно, там, где ресторан, там и пьянка, а там, где пьянка, там полный простор для совершения аморальных поступков. В крепком подпитии и буфетчица покажется королевой. Но буфетчица в РПУ и впрямь была королевой Инзы, только теневой. О ней шушукались, осуждали, но многие и завидовали втайне, ибо буфетчица властвовала над двумя заглавными персонами района: первым секретарём райкома партии и председателем райисполкома.

По приезду в Инзу, я коротко сошёлся с шофёром предрика, и он мне кое-что рассказал о времяпрепровождении этих руководящих товарищей. Это сейчас сильные мира сего проводят время на горнолыжных курортах в Альпах, посещают казино в Монте-Карло и парижские рестораны, а тогда руководители ещё не оторвались от народа и отдыхали без всяких выкрутасов. Раз в месяц обязательно они отрывались, как сейчас говорят, по полной программе. Соль развлечений инзенских вождей заключалась в том, что их обслуживала буфетчица из РПУ, и на природе, и в боковушках для высоких гостей в общепитах.

Александр Иванович и Иван Кузьмич были знатоками и ценителями разухабистых мордовских частушек, которые пели с приплясом под гармошку после принятия на грудь полкило очищенной. Мне не доводилось слышать их пения, но шофёр предрика говорил, что это были мастера по исполнению забористых припевок с картинками. Но пели они не одни, им подпевала буфетчица, их застольная дама.

Частенько эти лесные и «боковушные» застолья заканчивались дружескими потасовками: руководящие товарищи начинали тянуть буфетчицу каждый в свою сторону, чтобы уединиться с ней в кустах и посмотреть, как растёт земляника. Иногда даже не дрались, а бодались: станут на четвереньки и бьются лбами. Что только водка не делает с людьми!..

— А буфетчице какой прок от этих застолий?.. — поинтересовался я у шофёра.

— Большой!.. Муж у неё не дурак, сейчас на «Волге» разъезжает. А попробуй «Волгу» купить даже за свои деньги? Разрешение на покупку даёт райисполком. А буфетчице «Волга» досталась за копейки. По разнарядке пришла машина на стройку

комбината нетканых материалов. Простояла в тёплом гараже полгода. Потом на ней выехали и легонечко тюкнули в столб. Разбили подфарник, помяли бампер. А комиссия делает акт о полной непригодности к эксплуатации. Райисполком этот акт утверждает и через универмаг продаёт «Волгу» буфетчице, которая работает в РПУ — ресторане против универмага. И все дела!

«Червонец» за честность

Давно и далеко я уехал из города своей юности, а нет-нет, да и вспомню его, мой Омск, его бесконечные Северные и Амурские улицы, за которыми в зарослях тополей и клёнов спрятался посёлок первого кирпичного завода, где в бывшем зэковском бараке я встретил юность. В шестнадцать лет начал вкалывать на откатке, окончил вечернюю школу, увидел над заводом первый спутник Земли, услышал из радиоколокола над заводоуправлением радостный голос Юрия Гагарина. Советская вера вошла в меня без всякого понуждения. Я и все, кого я знал, были в первую очередь людьми советской веры, а затем людьми православной или мусульманской культуры.

Население в посёлке было сборным, в основном, деревенские, но и бывших зэков хватало, все они были бывшими политическими. О не-которых из них я уже написал в своих воспоминаниях, и все они вершили реальные преступления, но тот, о котором я сейчас расскажу, сел по 58-й всего лишь из-за своей честности как её понимал.

В начале войны он работал мастером маслоцеха в одном из городков Смоленщины. Цех входил в систему потребительской кооперации, и немцы весьма лояльно отнеслись к мастеру. Попробовав сливочное масло на вкус, они объявили, что цех будет работать на вермахт.

И все были довольны: немцы — маслом, а рабочие — возможностью жить на оккупационные марки, которыми им платили зарплату. Неплохо было и мастеру, который был членом партии большевиков, и, получив от немцев зарплату, не забывал откладывать какую-то от неё часть на партийные взносы, чтобы по этому пункту Устава, когда вернётся советская власть, его не исключили из рядов верных ленинцев.

Был у него школьный портфель, куда он аккуратно складывал взносы, а когда увидел красный флаг над райкомом партии, то достал закопанный в стеклянной банке на огороде партийный билет и отправился погасить свой долг перед партией. В райкоме его честность не поняли и отправили строить кирпичный завод в Омск.

И когда я сейчас слышу, что многие находящиеся сейчас на высоких государственных должностях бывшие коммунисты сохранили партбилеты и в любой момент могут предъявить их, если потребуется, мне вспоминается этот сутулый невзрачный мужчина, живший в барачном общежитии. Эти «сберегатели» партбилетов тоже отправятся платить членские взносы, если

коммунисты придут к власти?..

Он не скрывал, что отбывал срок, и я эту историю слышал не один раз.

— Зря ты пошёл в райком, — как-то сказал я.

— Может и не зря. Так мне червонец впаяли, а если бы за мной пришли, весь четвертак был бы моим.

Он нахмурился, закурил и уставился в окно.

Может, и сейчас кое-кто складывает в портфель партийные взносы, чтобы заплатить их, когда коммунисты станут правящей партией?..

Брежнев — мой приятель

Мы с женой, наконец, получили квартиру и были счастливы, что наше полугодовое мытарство без жилплощади закончилось навсегда. Но вот однажды нас смутил звонок в дверь. В полночь.

— Кто там?

— Брежнев! — раздалось из-за двери.

Мы с женой переглянулись.

— Кто это такой? Какой Брежнев?

— Да это я, Саша Брежнев, из Литинститута!

— Как ты попал в Ульяновск? — удивился я, пропуская в квартиру Сашу в белом врачебном халате.

Он, не вытирая подошвы ботинок, сразу ринулся в большую комнату.

— У тебя тут целая библиотека!.. А я живу здесь! Недавно… в скорой помощи работаю. Сейчас выпало свободное окно, дай, думаю, заеду.

Люда подогрела остывший ужин, заварила чай. Брежнев уплетал за обе щеки картошку с мясом и без умолку говорил, говорил. О чём он говорил, я не помню. Просидел он у нас больше часа, пока, наконец, отчалил. В ближайшие две недели он заезжал к нам в гости четыре раза и всегда ночью, на пятый раз он явился на рассвете. Я встал с кровати злой и решил положить конец этим дружеским визитам.

— А что я такого сделал? — сразу обиделся Брежнев. — Мне же скучно на дежурстве.

Я захлопнул перед ним дверь. Больше он нас не беспокоил. Тем временем Брежнев стал «видным» ульяновским литератором, то есть его рассказы часто печатала «Ульяновская правда» и не меньше, чем на половину газетной полосы. Надо сказать, что редактор «УП» Михаил Колодин ни за что бы не решился на публикацию рассказов, если бы не начавшее циркулировать в городе мнение, что Саша Брежнев состоит в родстве с генсеком ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Сыграло тут роль некоторое между ними сходство или обаяние фамилии — сказать трудно, но наш Брежнев печатался в партийной газете, что уже само по себе было верным признаком признания его дарования.

Но всё это рухнуло в одночасье, а именно в тридцатилетний юбилей Победы 9 мая 1975 года. В этот день первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов (Бабай) пригласил отметить эту славную дату Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Звучали речи, звенели стаканы. Участники Победы крепко поддали и разошлись по гостиницам и домам. И уже дома

одному Герою стало плохо. Его жена вызвала скорую помощь. Приехала бригада А. Брежнева. Врач мельком глянул на больного и сказал, что его зря вызывали: больной безнадёжен. Жена и родные в слёзы. Брежнев повернулся — и был таков.

К утру Герой оклемался, узнал, что врач скорой записал его в мертвяки, и пошёл в обком партии. Хозяин области сидел в своём кабинете и пил зелёный чай. Пострадавший рассказал про свою обиду. Бабай налил одной рукой ему рюмку французского коньяку, а другой поднял телефонную трубку и приказал вышвырнуть Брежнева из области. В двадцать четыре часа. Тогда такие вопросы решались просто.

Саша Брежнев проявился в 1989 году на экране телевизора во время встречи молодых московских литераторов с первым секретарём Союза писателей СССР В. Карповым. Литераторы требовали от В. Карпова свободы, своих публикаций, право на развитие какой-то другой литературы, не в русле русской словесности, а в сточной канаве пост-чего-то-там. В это время у него вышла книга прозы. Я видел её на прилавке, но почему-то не купил. Может быть, испугался, что Брежнев опять ночью позвонит в дверь моей квартиры.

Памятное слово о русском поэте Николае Благове

Николой Николаевич Благов всегда напоминал мне и статью, и характером полевой цветок — сорняк, который у нас называют мордовником. И правда, он был колюч и так иной раз мог ожечь словом, а то и взглядом, что просто оторопь брала — откуда это в нём такое?.. Некоторые уходили и обижались на Благова навсегда, но многих он притягивал к себе невыразимым ароматом слов и мыслей, которые, как и в настоящем мордовнике, были защищены от загребущих и нечистых рук бронёй копий и крючков. А сквозь этот оборонительный частокол проглядывал задиристый взгляд поэта — а ну-ка тронь меня, почувствуй остроту прекрасного!

Благов практически никогда не рассказывал о своём становлении как поэта, это была ещё одна его тайна, но мы её отгадаем очень просто, если прочтём вслед за поэтом книги, которые сделали его поэтом, величайшие книги России — «Букварь» и «Книги для чтения». В дни его малолетства не было суеты вокруг компьютера, тогда в цене были сказки, тогда не учились языку, а впитывали его вместе с молоком матери. Нам остаётся только догадываться, сколь могуче и всеобъёмно было его первое ощущение от того, что в его сердце сами собой стали складываться напевные строки, на какую высоту они приподняли его над миром и приблизили к сосредоточению всего сущего — к Богу, ибо без прикосновения к нему человек не может стать поэтом.

Всё, что окружало молодого поэта, он обнаруживал первый раз, ни родословье, ни воспитание не могло подсказать ему ровно ничего. Он был «чистой доской», на которой могли появиться любые письмена, но появилась поэзия, настоящая русская поэзия. Но и нельзя сказать, что чистейшие строки отразились на этой волшебной доске сразу в совершенном виде. Нужно вспомнить какие кровавые дни переживала тогда Россия. На деревню наступала коллективизация, и Благовы бегут, подобно десяткам тысяч своих земляков, от голода 30-го года, голода почти забытого сейчас, но основательно выкосившего Среднее Поволжье. Бегут в Ташкент — город хлебный.

Позже Николай Благов будет, где только можно, умалчивать об этом эпизоде своей биографии: уж очень не хотелось ему, коренному волжанину, признаваться, что родина его — Ташкент, послереволюционная столица российской голытьбы, нерусский

город, больше похожий на торжище. И никакие восточные мотивы не аукнутся в его стихах. Да и как они могли появиться, всё накрыла Волга, на берегу которой он прожил всю свою жизнь.

Интересно было наблюдать, как Николай Николаевич ревновал к Волге других поэтов, он только Н.М. Языкова допускал к ней, не в силах не уважить громадного таланта певца Волги, но остальных он всерьёз не ставил ни с Языковым, ни с собой. Слабость? Уверенность?.. По-моему, Николай Благов был до умопомрачения влюблён в Волгу, он испытывал к ней чувства разбойника, ушкуйника, который с трудом верил в Христа, так — для виду, а основной его верой была Волга, со всей своей языческой сущностью, вплоть до человеческих жертвоприношений. Чтобы понять это, нужно вспомнить, что воинство Стеньки Разина, а особенно сам Стенька топили в Волге своих супротивников по любому поводу.

Во всяком случае, Николаю Благову стоило бы выдумать родословную от древнего волжского атамана, изукрасить её байками и побасёнками, раздуванить знаменитыми дуванами из персиянской добычи. Конечно, стоило бы выдумать, но время, в котором он жил как поэт было совсем непоэтическим. Перед войной, говорят, была расстреляна ассоциация крестьянских писателей — несколько сот небесталанных душ. Живя в своём крестовогородищенском уединении, Николай Благов и духом не ведал обо всех этих литературных страстях. Повезло ему чуть позже в Ульяновском пединституте, где молодой поэт обрёл старшего литературного товарища Григория Ивановича Коновалова. Не думаю, что Григорий Коновалов много дал Благову как литератору, а вот практической стороне жизни поэта учил его беспрестанно, поддерживал, помогал.

В судьбе поэта много значит удача, везенье. Удача пришла к Николаю Благову оттуда, откуда он, пожалуй, её никогда не ожидал — из Москвы. Одним из первых оценил стихи Н. Благова заместитель редактора журнала ЦК ВЛКСМ «Смена» Дмитрий Ковалёв. Я в Литинституте был слушателем его семинара, и он рассказал мне, как, придя в журнал, потребовал принести ему все стихи, которые были отвергнуты редакцией. Среди массы «самотёка» Д. Ковалёву попались стихи, написанные в ученической тетрадке с фотокарточкой простецкого парняги.

— Мы дали большую подборку в журнале «Смена», — вспоминал Д. Ковалёв. — Стихи очень понравились читателям своеобычностью, сразу чувствовалось, что мы имели дело с настоящим русским поэтом. А тогда обстановка в литературе была достаточно сложной. Вознесенский, Евтушенко, Рождественский — эти имена были на слуху у молодёжи, хотя как

поэты, и это показало время, они были вторичными и слабыми. А в Благове чувствовалось своё, незаемное. Он шёл от земли и обещал как поэт безмерно много. В 1957 году он стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи. Дорога в большую поэзию для него была открыта…

Его печатали, его хвалили. В 1983 году ему была присвоена Государственная премия РСФСР. Он стал главным редактором «Волги». Но вряд ли Николай Благов был доволен достигнутыми успехами. Да и что стоило звание Лауреата Госпремии рядом с новой, ещё дышащей жаром поэмой или стихом? Но поэзия покидала Благова, он это чувствовал и страшно переживал, не подумав по зрелому размышлению, что, может быть, пришло время прозы, других литературных форм.

Я почему-то думаю, что проза у Благова была бы не ниже его стихов. Но кто знает.

Последние годы его жизни были омрачены неприятностями, в коих отчасти он был виновен сам. Против него восстали писатели, которых Николай Николаевич прямо в глаза называл бездарями. Такая правда была им не по нутру, и они, воспользовавшись нагрянувшей гласностью, организовали травлю большого русского поэта в комсомольской газетёнке.

Вскоре его поразил инсульт.

Счастье поэтов в том, что они от нас не уходят. Их творчество навсегда остаётся с нами, а значит с нами они сами, пока жив русский язык, пока есть хоть один поэт, дерзающий сказать о прекрасном.

Бульвар Пластова

Революции, как правило, оставляют после себя разрушения, но в память о 1904–1905 гг. симбиряне приобрели посаженный в эти годы Народный сад, ставший продолжением бульвара на улице Гончарова, существующего с середины 19-го века. Новый общественный сад разделился на три участка, которым молва присвоила названия — «Вера», «Надежда», «Любовь», которые употреблялись не только в быту, но и в официальных документах. К 100-летию со дня рождения В. Ленина на месте сада был создан бульвар, названный к концу 1980-х годов именем великого русского художника Аркадия Пластова. В середине 1990-х годов бульварную дорожку замостили декоративной плиткой, старые постройки были снесены, и на их месте построили внушительное здание Центробанка.

Мне всегда нравился бульвар Пластова своей относительной тишиной и удачным расположением: в полдень там не было солнца, а в своём направлении к ул. Советской он поднимался вверх и как бы имел продолжение в бездонном волжском небе, не упираясь в беломраморную глыбу мемориала. Во всяком случае, мне нечто подобное виделось.

Когда бульвар получил имя Аркадия Александровича Пластова, я, как и все горожане, гадал, что за памятник будет поставлен великому сыну земли симбирской. И понадобилось более десяти лет, чтобы его, наконец, установили. Впрочем, по этому поводу едва ли стоит брюзжать: памятник в дорогом материале — дело, требующее немалых творческих раздумий. Это сложный и весьма дорогостоящий производственный процесс. Тут всё зависит от властей. Юрий Горячев, правивший областью почти десять лет, к искусству был равнодушен, его окружение составляли поверхностные личности, которым не было дела до значения А. Пластова в русской культуре.

С 2000 по 2004 года губернаторствовал генерал-лейтенант, Герой России Владимир Шаманов, вполне путинский сановник с полным букетом страстей, обуревающих его стянутую мундиром десантника душу. На губернаторстве (про всё остальное люди забыли) он отличился установкой памятника А. Пластову. Я видел его торжественное открытие по телевизору, ничего выдающегося в этом творении скульптора Рукавишникова не было, но меня потрясла надпись на постаменте. Я не поверил своим глазам, специально поехал убедиться, что вижу ещё нормально, и убедился, с десяток раз прочитав немыслимый бред:

«Художнику А.А. Пластову от генерала губернатора В.А. Шаманова и при помощи художника Никаса Сафронова».

О генерале Шаманове я сказал, а к Никасу Сафронову подходит самоопределение С. Дали, сказавшем о себе самом: «Я богат потому, что в мире много кретинов». Добавлю, что С. Дали был и баснословно знаменит уже при жизни. Но лучше меня рассказал об этом проходимце от искусства наш писатель Евгений Мельников в своей повести «Счастливчик Майкл», опубликованной во втором номере журнала «Литературный Ульяновск» (2006).

Так губернатор В. Шаманов вписал весьма анекдотичную страницу в летопись истории нашего края. Что касается Никаса, то он любому скандалу рад.

Часто, чтобы подкрепить какую-нибудь важную мысль, обращаются к памяти благодарных потомков, дескать, они поймут и оценят сделанное старшими поколениями. К несчастью, память у потомков вовсе не благодарная, а весьма короткая. Они интересуются злобой своего дня, как впрочем, и все мы, грешные. За 350 лет истории нашего края им руководили, правили, командовали не менее ста воевод, губернаторов, секретарей обкома, глав областной администрации, но знаем ли мы, помним ли кого? Чем был славен тот или иной правитель?.. Конечно, образованные люди нашего города укажут на основателя Симбирска Богдана Хитрово. А ещё?.. Могу подсказать: известен губернатор А. Загряжский, при котором в 1833 году началась всероссийская подписка на памятник нашему историку Н.М. Карамзину. Но главным образом Загряжский остался известен потому, что у него останавливался А. Пушкин. Внимание высокого поэта сделало Загряжского известным для потомков.

Впрочем, для утешения тех, кто занимается повседневщиной и о вечном не думает, могу напомнить рассказ А.П. Чехова, сюжет которого весьма прост. В купе поезда едут два незнакомых друг другу господина, и один начинает рассказывать другому, что он мостостроитель, спроектировал крупнейший мост через Волгу, а на торжествах по случаю открытия моста газеты подробно описали бриллианты, платье, шляпку его содержанки, камелии местного театра, а о нём упомянули вскользь.

— Моя фамилия Б., — сказал инженер. — Вам она знакома?

Его попутчик не знал европейски известного Б. и в свою очередь поведал, что он писатель, автор пятнадцати книг повестей и рассказов, и его фамилия Ч.

— Извините, не слышал.

Пименовский подкидыш

Это воспоминание написано давно, и я не собирался его публиковать, но с дневного просонья заглянул в телеящик и увидел Гришу Остёра, едко глаголящего о государстве, в котором у него было жуткое детство, в компашке с русскоязычной публикой, которой дирижировал шоумен Шахматов, при скептически ухмылявшемся Д. Быкове. «Какое жалкое выступление, — читалось в ухмылке маститого мэтра. — Обслюнявил тему и не укусил ни разу…»

* * *

Известный советский писатель одессит Валентин Катаев как-то в порыве откровенности признался, что он занялся литературой потому, что это была единственная возможность при советской власти легально стать миллионером. И действительно, при известных способностях, усидчивости и умении держать нос по ветру, некоторые советские писатели стали очень богатыми людьми. Они сейчас справедливо забыты, их творения, издававшиеся громадными тиражами, пылятся на полках библиотек. Однако не только «свято место пусто не бывает», но и чёртово тоже. Мечта о миллионе, теперь уже долларов или евро, согревает нутро, когда писатель раздумывает, какой «нетленкой» ошарашить читателя, чтобы тот бросился сломя голову покупать его книгу.

В наше время путь к известности, а значит к большим тиражам, лежит через скандал. В России этот приём впервые использовали футуристы (Д. Бурлюк, В. Маяковский и др.), выпустившие скандалёзную книжку поэзии «Пощёчина общественному вкусу». Морковка в петлице, жёлтая кофта эстрадного поэта, призывы сбросить Пушкина с парохода современности выглядят довольно невинно по сравнению с сегодняшними хамскими изысками некоторых литераторов. Об одном из них мне кое-что известно, поскольку я учился с ним на одном курсе Литинститута.

Надо сказать, что в моё время сдаче приёмных экзаменов предшествовал творческий конкурс среди абитуриентов. Будущие дипломированные писатели присылали в институт свои творческие работы: стихи, рассказы, драматургические произведения и критические статьи. Конкурс был громадный, на заочное обучение было принято человек 60–70, а творческих

соискателей на право экзаменов для поступления были многие тысячи, у нас ведь страна людей пишущих. Прошедшие конкурс, примерно сто человек, получали вызов на экзамены. Но перед экзаменами проводилось собеседование, на котором руководители творческих семинаров комплектовали свои группы. Трудно сказать, чем они руководствовались, скорее всего, своим вкусом, своим представлением о писательском ремесле. Со мной было так: в небольшом зале перед собранием профессоров и известных писателей я ответил на вопросы и прочитал своё стихотворение, затем поднялся Д.М. Ковалёв и сказал, что берёт меня в свой творческий семинар.

Тогда я совсем не знал Дмитрия Михайловича как поэта, но с виду он мне не показался: щупленький старичок и не больше того. Размышляя о том, повезло мне или нет при распределении, я вышел в институтский сквер. Там мои будущие сокурсники оживлённо обсуждали результаты собеседования, и только один, пригорюнившись, сидел на скамейке, держа на коленях объёмистый портфель. Вдруг он вскочил и бросился наперерез к величественно шествовавшему ректору Пименову. Суть разговора была понятна — неудачник молил о снисхождении, принимал просительные позы, затем распахнул портфель, вытащил оттуда журнал со своей публикацией, развернул и, семеня рядом с ректором, пытался держать его так, чтобы тот скользнул по его стихам отеческим взглядом. Это ему удалось сделать. Пименов остановился, взял журнал (это был альманах «День поэзии»), и они вошли в здание.

Этим настойчивым просителем был Гриша Остёр. Так получилось, что ни один из руководителей творческих семинаров его не взял, и это означало, что к приёмным экзаменам он не допущен. В то время Гриша очень активно писал напористые стихи на заданные большевистской идеологией темы. 1970-й год — это столетний юбилей В. Ленина, и Остёр многострочно писал о вожде пролетариата. В «Дне поэзии», который он всучил В. Пименову, было напечатано его большое стихотворение, в котором восторженно излагалось, как вождь едет из эмиграции в Питер, где на Финляндском вокзале уже стоит броневик, окружённый революционными пролетариями, солдатами и матросами. Я прочитал эти стихи и был удивлён: они были написаны уверенной рукой, мне такое явно было не под силу. И лишь сейчас я понимаю, почему ни Д. Ковалёв, ни В. Гусев не взяли Гришу в свой поэтический семинар: они поняли, что учить его уже нечему, он умел писать гладкие стихи на заданную тему, был готовым рифмоплётом, а переучивать, перевоспитывать такого делягу от поэзии — труд непростой и неблагодарный.

Владимир Фёдорович Пименов взял Гришу в свой семинар по драматургии, и тот моментально ожил, стал общительным и разговорчивым. Жил он не в институтском общежитии, а у родственников, обосновавшись в 1970 году в Москве. Надо отдать Г. Остёру должное — он обладал пробивными способностями, к тому же его привечали, ему помогали очень многочисленные представители русскоязычной литературы. А у тех было всё схвачено и в издательствах, и в журналах, поэтому протекция своему человечку всегда надёжно обеспечивалась. Главное, чтобы он не был безнадёжно туп, а Гриша обладал несомненными способностями версификатора (человек, легко слагающий стихи, но лишённый поэтического дара). Ну, не задалась у парня поэзия, рассуждали его доброхоты, тогда пусть будет драматургия, этот гешефт лучше, чем виршеплетство. И уже на втором курсе Гриша Остер всем объявил, что пишет пьесу для театра Советской Армии. И в институте у него все было превосходно, с ректором ходил, чуть ли не в обнимку.

Как-то у меня с Гришей состоялся любопытный разговор. Я шел по коридору института, и у меня в руке была книга Петра Боборыкина, известного писателя 19-го века, изданная до революции. Гриша заинтересовался: «Старик, что за книга?» Полистал, постучал пальцем по обложке. — «Сколько?» Я объяснил, что потерял библиотечную книгу, а эту отдаю взамен утерянной. «Жаль, — сказал Гриша. — У меня есть знакомый книголюб. Пойдем я тебе кое-что покажу». Мы подошли к окну, и он достал из портфеля две завернутые в вафельное полотенце иконы. Литература была для Остера ожидаемым гешефтом, а пока он обтяпывал свои делишки на иконописном направлении. Ездил на Север, покупал иконы, в Москве продавал, поэтому деньги у него водились.

После окончания института я о Грише Остере долго не слышал, пока не началась перестройка. Тогда Гриша объявился в журнале «Огонёк», где вёл раздел юмора. Видимо, драматургия ему оказалась не по зубам, и он подался в юмористы. Такой вот многостаночник от литературы. «Огонек» Виталия Коротича, как и почти все СМИ, перелицовались из советских изданий в буржуйские и русофобские. Получить в «Огоньке» постоянную свою страницу! Такое было под силу только Евг. Евтушенко и Грише Остеру. Само по себе это говорило о том, что Гриша вошел в либеральную пишущую элиту, которая, похохатывая, толкала Россию к пропасти. Понятно, что за это хорошо платили.

Однако вершин литературного шкодничества Гриша Остер добился не в «Огоньке» на ниве юмора, а став детским писателем. Можно по-разному оценивать детских писателей советского

периода, бывали и у них несуразности вроде этой: «Вдруг из маминой из спальни… выбегает умывальник и качает головой…» Что, спрашивается, делал умывальник в маминой спальне? Что, это отчим неумывайки?.. Или случайный знакомый?.. Возможно, я зря придираюсь, это, скорее всего, просто смысловая неряшливость, но вернёмся к Грише, который взял, да и сочинил «Задачник по математике». Много чего в нём можно вычитать. Вот задача № 232. «Сидя на диете, людоед съедает по два худеньких мальчика и по три щуплых девочки в день…» А вот № 235. «Кто окажется тяжелее после ужина: первый людоед, который весил до ужина 48 кг и на ужин съел второго людоеда, или второй людоед, который весил до ужина 52 кг и на ужин съел первого?». Вот такая математика.

«Задачник» Гриши Остёра вызвал скандал. Педагоги и родители возмущались, но эту бесятину одобрили детские писатели, литературные сообщники Гриши. Министерство образования ввело его в круг обязательного обучения учащихся в младших классах. Но людоед это будет круче умывальника из маминой спальни. И что?.. «Задачник» тиражируется, денежки капают. Появилась у Гриши известность, то есть то, к чему он так стремился. Его знают все.

«Генка-людоед»

5 июня 1983 года в районе моста через Волгу в Ульяновске потерпел крушение пассажирский теплоход «Александр Суворов». В результате столкновения с пролётом моста погибли около 180 пассажиров, в основном туристов, шахтёров из Донецка. В момент столкновения по мосту двигался поезд, который сошёл с рельсов. Чего не было обычно в практике, на этот раз средства массовой информации сообщили о трагедии.

Была создана правительственная комиссия во главе с членом Политбюро Гейдаром Алиевым, которая занималась выяснением причин катастрофы и определяла виновных. Довольно скоро по Ульяновску распространился слух, что отстранён от должности первый секретарь обкома КПСС И.М. Кузнецов, который отдыхал во время столкновения моста и теплохода на знойном юге. И как это часто бывает в России, этот слух подтвердился. Первым секретарём обкома партии был назначен Геннадий Васильевич Колбин, вскоре получивший среди номенклатурных работников прозвище: «Генка-Людоед».

Г. Колбин был родом с Урала. В тридцать два года стал кадровым партийным работником. Возглавлял партийную организацию Нижнего Тагила, в 1971 году стал вторым секретарём Свердловского обкома КПСС. С 1975 по 1983 годы работал вторым секретарём ЦК компартии Грузии вместе с отъявленным партийным отморозком Э. Шеварнадзе, одним из заглавных зачинщиков развала СССР. Таким образом, восемь лет Г. Колбин был вторым, что не могло не задевать его номенклатурного самолюбия. Вторые секретари редко становились первыми, но наш герой сумел ухватить судьбу за бороду и прочно устроился в руководящем кресле Ульяновского обкома партии.

С 1982 по 1985 годы ушли из жизни генеральные секретари ЦК КПСС Л. Брежнев, Ю. Андропов, К. Черненко. Эта погребальная чехарда была верным признаком агонии КПСС, но приход к власти М. Горбачёва, вроде бы молодого и энергичного генсека, оживил надежды тех, кто верил в жизнеспособность коммунистической идеи. Г. Колбин, пройдя свирепую школу выживания, был циничным прагматиком и всегда держал нос по ветру. Его приход к власти в Ульяновске совпал с андроповскими мероприятиями по укреплению дисциплины и смене зарвавшихся руководителей. Подобные задачи были Г. Колбину по душе. За три года своего правления он сменил практически всех первых секретарей райкомов партии и многих областных руководителей.

Не в силах чем-то навредить Колбину они и придумали ему обидное прозвище «Генка-Людоед». Я долго не понимал, почему оно к нему так прилипло, пока не увидел хохочущего Колбина. Смеялся он странно: нижняя челюсть падала вниз, как у Щелкунчика, и открывала громадную пасть, откуда доносились лающие звуки. Довольно зябкое зрелище.

После столичного Тбилиси наш обломовский по повадкам Ульяновск не показался Г. Колбину достойным градом. Наши привычные чугунные решётки на улице Гончарова по его справедливому, впрочем, мнению выглядели чересчур провинциально, и в конце улицы их убрали. За одним был увеличен шпиль на обелиске Славы. Это вызвало недовольство и брюзжание номенклатурных обывателей. При Г. Колбине начали строить мост через Волгу, университет, Центр микроэлектроники.

Г. Колбин действительно умел держать нос по ветру. В политбюро КПСС ещё только чихнуть собираются, а Геннадий Васильевич уже говорит: «Будьте здоровы!..» Особенно это ценное качество проявилось у него в борьбе с пьянством, начавшейся по инициативе М. Горбачёва в 1985 году и раскачавшей политическую обстановку в стране. Борьбу с пьянством в области Г. Колбин начал за месяц до вступления в силу постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Это рвение было оценено, и в 1986 году Г. Колбин был направлен первым секретарём ЦК компартии Казахстана. Его вступление на должность было омрачено бунтом националистически настроенной казахской молодёжи. Это был первый знак того, что ждёт страну в ближайшие годы.

Кино с обратной стороны

За время работы на телевидении я сделал три короткометражных фильма, по-своему сценарию, но на самом деле приходилось заниматься всем: договариваться о съёмках, выбирать объекты для натуры, держать осветительные приборы, выступать в роли интервьюера, участвовать в монтаже фильма. Работа была интересной и трудной, но платили за неё мало. За 20-минутный кинофильм «Димитровград» я получил пятьдесят рублей. Остальным участникам творческого процесса гонорара не полагалось вовсе.

План производства кинофильмов был небольшим: два-три фильма о людях труда, ими занимались другие редакции, а литературно-драматическая редакция, то есть я, делала в год один кинофильм, идею которого обычно давал наш начальник, зам. пред. телерадиокомитета Константин Петрович Воронцов.

Ко мне он относился доброжелательно, особенно после выхода моей первой поэтической книжки в Саратове. Он и предложил создать фильм о Димитровграде, сказав, что там есть, что снимать, а первый секретарь горкома партии Георгий Фёдорович Полнов сам увлечённый кинолюбитель и окажет нам помощь в организации киносъёмок.

В середине 1970-х годов Димитровград был уже на несколько голов выше других городов областного подчинения. Город делился как бы на две части: старый город одноэтажной частной застройки и так называемый соцгород, жилой комплекс научно-исследовательского института атомных реакторов, построенный в сосновом лесу по образу новосибирского Академгородка.

Полнов оказался доступным и очень живым человеком. Узнав, что я приехал собирать материалы для фильма о городе, он сразу загорелся идеей.

— Вам ничего искать не надо! — воскликнул он. — Я облазил все чердаки Соцгорода и нашёл несколько точек, откуда открываются великолепные панорамы…

Мы прошлись по улицам, и эти точки он мне показал.

— Георгий Фёдорович! — как можно убедительнее сказал я. — Для фильма нужно снимать НИИАР, без него впечатление о городе будет неполным.

— Хорошо! Я позвоню туда, и тебе помогут.

Атомный институт был в это время закрытым для прессы объектом. Нет, в печати можно было упоминать его название, но до меня внутрь объекта журналистов не пускали, его не фотографировали, не снимали на плёнку. Существовал всего

лишь один фотоснимок, опубликованный в «Советской России», где был запечатлён выезд Председателя Совмина РСФСР М.С. Соломенцева из ворот НИИАРа. Я же предполагал показать в фильме всё, что мне разрешат.

У входа в здание управления охрана проверила у меня паспорт и без расспросов указала на кабинет заместителя директора по режиму Шкуро. Это был, по моим понятиям, довольно пожилой человек с резкими чертами лица и в штатской одежде. Коротко изложил ему суть дела, а он в это время рассматривал меня, как рыбак попавшего на крючок малька: выбросить в воду или отдать кошке…

— Добро, — сказал Шкуро. — Директора я тебе не дам, он у меня доклад пишет. Всё тебе покажет и объяснит майор.

И Шкуро указал на худощавого человека в мятом пиджаке, который сидел в сторонке.

Меня удивила ниаровская проходная, сколоченная наспех из фанеры и сухой штукатурки. Майор зашёл в караулку, а я остался в предбаннике и закурил, полагая, что на территории курение запрещено.

Вдруг слышу телефонный разговор по телефону. Кто-то выдаёт в трубку по слогам мою фамилию, год и место рождения. Словом, эти установочные данные улетели в Ульяновский КГБ. Ждём-с!..

Через полчаса появился режимный майор.

— Пошли!..

Мы вошли в производственный корпус, миновали специальный для замера радиационного фона прибор. Я поинтересовался, высока ли его чувствительность. Майор поднёс к прибору часы с фосфорным покрытием циферблата. Раздался тревожный звонок.

Далее мы переоделись в белую одежду и прошли в рабочие помещения, где находилось несколько камер, видимо, свинцовых со стеклянными экранами. В этих камерах испытывались при различных уровнях радиации образцы химических элементов. В основном, работали с металлами. В камерах они подвергались и механическим воздействиям с помощью различных манипуляторов.

Сняв спецовку, мы с майором ополоснулись в душе, и он повёл меня на атомный реактор БОР-60. Единственное, что стоило снять там, был зал управления. Показали мне и сам реактор, ничего особенного: на мой взгляд это была сумрачная, плохо освещённая котельная, с множеством труб и других железяк.

За проходной майор завёл меня в магазин и сказал

продавщице, чтобы она отпустила мне три килограмма мяса. В Ульяновске с мясом была напряжёнка.

— Может, за знакомство звякнем стаканами, — предложил я своему провожатому.

— Извини, брат, язва… Ну, до свидания! Вези своих киношников!..

В то время на радио и телевидении существовал издевательский над автором порядок: тексты всех передач, кино, даже футбольных матчей утверждались до совершения события, например, в интервью журналист должен заранее написать то, что скажет человек, которого он и в глаза не видел. Вот и писал, что в голову придёт. Цензор визировал эту галиматью. Председатель визировал тоже, а также определял сумму гонорара автору, так что эта писанина становилась финансовым документом. Вот и мне пришлось мучиться над сценарием, писать что скажет Г.Ф. Полнов и другие персонажи. Муторное это было дело.

Наконец, сценарий был утверждён, и киногруппа выехала в Димитровград. Режиссёра и других больше всего интересовало: пустят ли нас в НИИАР. Пустили, конечно. Тот же майор сопровождал нас. Снимали выступление начальника, БОР-60. И вдруг пропал осветитель. Майор забеспокоился. Наконец, осветитель, студийная кличка Комбат, в войну командир батареи, был обнаружен в «царском месте».

Я его пужнул: «Тебя КГБ с ног сбилось, ищет!»

Комбат задрожал от страха: старая выучка. Подошёл майор.

— Ну что, комбат, мину в туалете не поставил?

— Уборщица разминировала.

Комбат понял, что над ним шутят, и расцвёл улыбкой.

Печальные судьбы. Анатолий Бармин

К счастью, мы не знаем, когда и по каким причинам наступает в жизни человека тот роковой миг, когда он вдруг начинает ощущать необоримую тягу к писательскому творчеству. Можно назвать это открытием в себе духовного пространства, можно признать это болезнью, бесспорно одно: чтобы стать писателем, человек подвергает себя переустройству, даже духовной ломке. Только большие таланты рождаются уже подготовленными самой природой для творчества. Есенина великий пролетарский писатель назвал «органом», приспособленным для поэзии. Эти неуклюжие слова, в бытность мою студентом, были написаны на стене актового зала Литинститута, и многие студиозы недоумённо на них взирали, так до окончания обучения и не постигнув их смысла.

Но гений выпадает один на век, ему всё дается от бога, а остальные писатели вынуждены сами освобождать свою душу от земных корост и цепей, чтобы она изведала сладко-щемящую высоту творческого полёта. Одни писатели развиваются стремительно, у других этот процесс длится годами и увенчивается получением заветных «корочек» члена Союза писателей России, после чего автор худосочных стишат и анемичной прозы становится во мнении публики, но в первую очередь в своём собственном, признанным настоящим писателем.

Обычно этот процесс проходит в мажорных тонах и доставляет писательскому новику массу приятных впечатлений, но бывают и неожиданные исключения. Вот и пример. В 1991 году Анатолия Бармина и ещё одну ульяновскую поэтическую даму на Всероссийском совещании молодых литераторов без изданных ими книг приняли в Союз писателей России.

Получив писательское удостоверение, Анатолий Бармин крепко задумался, писатель он или нет. Иногда в разговорах от него частенько можно было услышать: «Да какой я писатель!» Между тем у него вышла книжка рассказов, и совсем неслабых. Он пытался работать над романом.

И вот однажды сомнения в том, писатель ли он на самом деле, заставили его прийти к ответственному секретарю нашей писательской организации Евгению Мельникову и положить на стол членский билет Союза писателей. Думаю, что совершил он этот неординарный поступок потому, что понял, за какое неподъёмное дело взялся, что малообразован, а ему идёт четвёртый десяток, что нечего притворяться перед самим собой и людьми, что ты настоящий писатель, и так далее.

Мельников, конечно, вернул Анатолию Бармину писательский билет, сказав, что раз он так серьёзно относится к литературе, то у него со временем напишутся хорошие книги. А я подумал, что побольше бы было таких людей в нашем СП России. Пока же больше двух третей писателей можно отнести к людям случайным, которых ответственные секретари рекомендовали, а секретариат Союза писателей России напринимал в ряды писателей для количества, надеясь, что это придаст организации какой-то вес в глазах властей, которым глубоко безразлично — есть в России «Щедрины и Гоголи», или их нет.

Но вернёмся к Анатолию Бармину. Материально он жил трудно. Работая на стройках, крепко простыл. О его последних днях у меня есть запись дневнике. «12 октября 1988 года. Зашёл в Союз. Смотрю, на доске стихи, посвящённые памяти Анатолия Бармина. Оказывается, умер, похоронили, а я не знал. Последний раз я видел его на собрании несколько дней назад. Он выглядел очень плохо. Сказал, что надо бросить курить. Мы сложились по 50 рублей ему на лекарство. Этой же ночью он скончался. Осталось четверо детей. Бармин, смертельно заболев, перешёл в протестантство. Пасторы обещали ему купить почку для пересадки, но обманули. Это не помешало им совершить над покойником протестантский обряд. Затем Толю отпели по православному.

От всех этих загробных выкрутасов просто оторопь берёт».

Печальные судьбы. Андрей Пчёлкин

К Андрею Пчёлкину судьба, казалось, была благосклонна: ум, красота, здоровье, заметные проблески поэтического таланта, который со временем мог бы вывести его в писатели. В 1988–1991 гг. он работал директором бюро пропаганды в нашем отделении Союза писателей, занимался организацией выступлений писателей в Ульяновске и в районах области. На выступлениях можно было заработать небольшие деньги, а тогда мы были достаточно молоды, и читать стихи, говорить о литературе с людьми было для меня, например, интересно.

Стихи Андрей писал, как все начинающие авторы, неровные, были у него и яркие запоминающиеся строчки и банальности, но в нём можно было почувствовать то, что я называю поэтическим дыханием. Это, когда стихи пишутся не рукой или головой, а всем существом поэта. Это такое сильное чувство, что поначалу оно ввергает поэта в транс и только со временем острота ощущений притупляется. Поэт В. Соколов выразил это в строке: «… Я думал это охлажденье, а это было мастерство».

Заинтересовался А. Пчёлкиным и наш Николай Благов:

— Ну как тебе Пчёлкин?

Я высказался в том же духе, как и написал выше. Благов ничего не сказал. Он вообще ревниво относился к появлению людей, пишущих стихи, и заранее был уверен, что ничего путного они не напишут.

«Уазик» Союза писателей не простаивал, хотя ставку шофёра и сократили, потому что Секретарь Союза писателей СССР В. Карпов с какого-то дуру отдал государству сотни миллионов писательских рублей. Туда же пошли и деньги за проданные автомашины писательских организаций. У нас машина ещё была, и рулил на ней Пчёлкин. И, наблюдая его за рулём, я понял, что Андрею присуще качество, широко распространившееся среди наших граждан, — пофигизм, если не сказать более крепко. Не раздумывая, он подрезал огромный грузовик, гнал машину ночью вслепую и считал, что всё нормально. Меня он побаивался, а с другими не церемонился. Машину вскоре продали, и, думаю, это спасло Андрея от гибели в автокатастрофе.

Как-то мне открылась ещё одна сторона его натуры: он любил своего отца, учёного биолога, который умер в 44 года. Однажды он провёл на могиле отца всю ночь. Видимо, размышлял и говорил с отцом об очень серьёзном и сокровенном.

В перестройку и кооперативное движение Андрей бросился без раздумий. Поэзия была заменена погоней за наживой. Он

первый в Ульяновске организовал выпуск порнографической, вполне похабной газеты. В мемориальном паровозе возле Винновской рощи организовал продажу заграничных обносков. Вместо бюро пропаганды, потому что стихи уже стали не нужны обалдевшему от перестройки народу, Пчёлкин организовал издательство «Феникс», которое выпустило книжку маркиза де Сада и анекдоты, собранные Евг. Мельниковым. Скоро дела у него пошли в гору и весьма крутую. Со мною он не общался. Последний раз его я видел возле его офиса. Он стоял с каким-то балбесом в красном пиджаке. Пчёлкин на меня показывал рукой, и они хохотали. Наверно, смеялись над нищим поэтом.

Вскоре по городу прокатился слух, что Андрей исчез. Нашли его только весной, когда стаял снег.

«Большая Волга — 74»

Зимой 1974 года мне выпала интересная командировка от газеты — написать статью об участии ульяновских художников в зональной выставке «Большая Волга» в Горьком, сейчас Нижнем Новгороде. Я никогда не был в «третьей столице» России и поездка меня заинтересовала. Добирались до Горького самолётом ЯК-40, который целиком заполнили ульяновские художники. Их сопровождали инструктор обкома партии Е. Леонтьев, заместитель начальника областного управления культуры Л. Москвитина, корреспондент «Ульяновской правды» Т. Скочилова. Татьяна была не однофамилицей первого секретаря обкома партии, а его родной дочерью. В редакциях мы работали на одном этаже, и поэтому она в самолёте сидела рядом со мной, поскольку художники, на всякий случай, опасались сесть с ней рядом.

В Горьком мы все разместились в гостинице «Нижегородская». Алексей Моторин выделил мне одноместный номер с намёком: гуляй, рванина! Я поморщился, пересчитал командировочные и сразу спросил у Татьяны, есть ли у неё свободные деньги. Она не удивилась моему вопросу и заняла мне четвертную.

Открытие выставки должно было состояться завтра, а пока просмотр сделали для прессы. Не просмотр даже, а прогон, потому что всё делалось в темпе. Впрочем, ясно было, что завтра откроется показательное торжество идей социалистического реализма в изобразительном искусстве. Иного просто не могло быть. Я шёл по выставке медленнее других и пытался составить какое-то целостное впечатление. И оно было явно невесёлым. Живопись, графика, скульптура — всё отдавало незамысловатой литературщиной, казалось, авторы громко подсказывали зрителям: я хочу сказать то-то и то-то. Природный язык живописи — цвет и рисунок — были делом вторым, главным было, чтобы правильно поняли, что мысль добротно проиллюстрирована умелой цветовой гаммой, что руки и ноги у персонажей растут оттуда, откуда им положено.

Был уже вечер и гостиница, занятая художниками Поволжья, гудела и вздрагивала. В каждом номере шёл выпивон, ведь встречались давно не видевшиеся выпускники одних вузов, соседи по творческим дачам. Это считалось необходимым отметить, спрыснуть, поскольку для каждого художника участие в выставке как бы подтверждало его профессиональный статус, а для начинающих служило важной ступенькой для вступления в Союз художников.

Я зашёл в номер к Ивану Лежнину, где застал Николая Пластова и Алексея Моторина. Они были трезвы и воспитывали Ивана за нетрезвость.

— Тебя же, Ваня, послали на заслуженного! А ты вот попадёшься на глаза Ткачёву и прощай звание!

Алексей смотрел на подвыпившего Лежнина с насмешкой. Я уже знал, что он любит при случае подковырнуть его, чтобы знал тот своё место.

Пластов и Моторин ушли, а Лежнин собрал пустые бутылки со стола и достал полную бутылку «Столичной».

— Конечно, Алексей Васильевич, непростой человек! Но я ведь художник, а он так… Я правду говорю, как ты думаешь?

Вопрос был бы сложным, если бы я был художником, а для поэта он прост: Алексей Моторин был вообще лишён художественного видения мира, а у Ивана Лежнина оно в некоторых работах присутствовало.

— Да, ты, Иван Васильевич, художник, и это бесспорно!..

Иван жалобно глянул на меня, прослезился и наполнил стаканы.

Выпив «Столичной», Иван Васильевич уснул, а я вышел в коридор. Здесь меня и подхватила Татьяна Скочилова.

— Коля! Пойдём к нам!

В уютном номере открытие выставки отмечали Евгений Леонтьев из обкома партии и Людмила Москвитина, старая комсомолка, работница культурного фронта. К ним мы и присоединились. Леонтьев не был чужд изобразительного искусства, впоследствии он был долгое время директором Художественного музея. В тот вечер он довольно открыто говорил, что обком партии знает, что как художник Моторин слаб, но как организатор выше всяких похвал. При Моторине обком партии мог быть спокоен за эту ораву творческих личностей. Беспокойство обкома КПСС было понятно: несколько лет назад в Москве состоялось самочинная выставка художников, противников соцреализма. Её снесли бульдозером. Подобное могло произойти и в другой области Союза. Поэтому за художниками бдили, подкармливали, давали мастерские и квартиры.

Татьяна Скочилова выпила совсем не много, но раскраснелась и начала жаловаться, что хочет жить отдельно от родителей, а ей не разрешают. Леонтьев заскучал, а я под каким-то предлогом вышел в коридор.

Главной задачей выставки был показ гражданам произведений искусства. По мысли кремлёвских идеологов эта сопричастность к прекрасному не только обогащает духовный

мир современника, но и вселяет уверенность, что он живёт в государстве всеобщего благоденствия. Мир несчастий, преступности, чёрствости, равнодушия, религиозный мир, мир предчувствий, прозрений — всё это оставалось в стороне от зональной выставки. По сути дела она была грандиозным, как сейчас говорят, пиаром.

Но участнику зональной выставки надо было как-то попасть на Всесоюзную выставку, организовать закупку своих работ в престижный музей, прозондировать возможность проникновения в число бессмертных — Академию художеств. Моторин долго протаптывал тропинку к почётному званию, но его опередил варяг, приехавший в Ульяновск к 100-летию дня рождения Ленина, — В. Сафронов. И на этой выставке он был впереди всех ульяновских художников.

Но это дело будущего, а после открытия зональной выставки в ресторане гостиницы «Нижегородская» состоялась грандиозная гулянка, затянувшаяся почти до утра. Художники плясали, пели, плакали, смеялись, клялись друг другу в дружбе и ненависти. Это был их день, и вечер, и ночь. А наутро праздник кончился, нужно было ехать по домам, опять впрягаться в работу. Ульяновцы под бдительным присмотром Б. Худякова, ответственного за погрузку в самолёт земляков В.И. Ленина, благополучно прибыли в Ульяновск.

Как я говорил, мы с Татьяной Скочиловой работали на одном этаже, иногда вместе курили на лестнице. Вскоре после приезда из Горького она утром зашла в комнату, где стоял мой рабочий стол. Усевшись в гостевое кресло, начала рассказывать, какой ей дивный сон приснился сегодня ночью. Любопытно, что главным героем сна оказался я. Что я там поделывал, она не рассказала, но улыбалась жарко и многообещающе.

— Утром за кофе ты, наверно, рассказала сон папе? — поинтересовался я.

— Конечно, рассказала, — сказала простодушная Танюша.

А я представил себе, что в голове члена ЦК КПСС, первого секретаря обкома партии тренькнул тревожный звоночек: не объявился ли четвёртый претендент на руку и сердце его дочери?

Честно говоря, Татьяну мне было жаль. Жить под колпаком молодой женщине было нелегко. Видимо, понял это и Бабай. Где-то через год Танюша устроилась работать в газету «Советская культура». Квартиру и московскую прописку она, разумеется, получила.

Скульптор Василий Шеломов

С первых же дней знакомства со скульптором Василием Шеломовым я понял, что он хранит в себе огромный запас внутреннего величия. Это совсем не то, что самолюбие — удел людей мелкотравчатых и ущербных. Величие — это врождённое чувство высокого предназначения, осознание особенного Я. И это чувство позволило ему прожить жизнь как бы вне времени в мире совершенных объёмных скульптурных форм. Оно же подвигло его на создание «Автопортрета», который не просто «голый Василий Петрович», а творческое кредо скульптора.

Шеломов практически не имел комплексов, пожалуй, кроме одного. Сейчас из жизни уходят остатки того героического поколения русских людей, которых можно назвать интеллигентами в первом поколении, первыми в своём крестьянском или пролетарском роду получившими высшее образование. Знания дались им громадным трудом, и они ощущали, что их образованность не полна. Не прочитаны многие великие книги, которые были под запретом цензуры, не изучены итальянские, французские музеи. Они имели большой запас слов на иностранных языках, но не умели сложить их в предложение. Всё это привносило в их существование горький осадок. Это чувство было ведомо и Василию Петровичу, но он его преодолевал своей игрой в опрощение, доходившей иногда до юродства.

После окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Василий Шеломов приехал в Ульяновск. Это было в 1970 году, в год 100-летия вождя. Мемориал был построен, скульптуры поставлены, а молодому скульптору выделили под мастерскую подвал в полуразрушенной церкви, дали две тонны глины, двадцать мешков гипса и сказали: «Твори!..»

Во все времена скульптор был немыслим без образованного и щедрого заказчика, поскольку скульптура — дело очень дорогое. В 1970-х годах в Ульяновске деньги на скульптуру были, но скульпторы были выведены председателем Союза художников в отдельную резервацию. Им заказывали малоценные работы в дешёвом материале, чтобы они кормились. Существовала и другая сторона дела — понимающий искусство заказчик. Хотя Василий и был признан лучшим скульптором Ульяновска, ни разу за тридцать лет существования его мастерской на улице Гончарова к нему не пришёл директор завода и не сказал, что он хочет видеть возле своего предприятия скульптуру в бронзе, или

чугуне, словом в долговечном материале. Вся номенклатура была беспробудно глуха и тупа к изобразительному искусству, и смотрела на художественное оформление построенных зданий общественного пользования как на принудительную обязаловку.

Такое же положение было по всей стране. Существовали два-три придворных скульптора, им заказывались памятники государственного значения, а остальные кормились подёнщиной. Как-то раз Шеломов обронил замечательную фразу: «Мы, скульпторы, должны быть по гроб жизни обязаны писателю Сергею Смирнову, без него мы сдохли бы с голоду!..» И в этих словах была горькая правда. Сергей Смирнов в 1955 году открыл народу подвиг героев Брестской крепости, он выступал по радио с рассказами о поисках героев, и всё это вызвало в народной массе огромный отклик. Каждое село, школа, предприятие стали воздвигать памятники участникам войны, погибшим и живым. Так скульпторам нашёлся непочатый край работы: лепить гипсовых или отливать бетонных солдат.

С точки зрения искусства — это была халтура. Каждый колхоз, каждое предприятие могли бы найти деньги на памятник, выполненный в вечном материале — бронзе, чугуне, мраморе, граните. Это были бы действительно памятники, достойные заслуг героев. Но решили, что «мёртвые сраму не имут», и понаставили по всей стране бетонных мужиков с гранатами и винтовками и плачущих женщин.

Для такого мастера как Василий Шеломов, сделать рабочую модель солдата было делом одного дня. Затем форматоры модель увеличивали и отливали из бетона. Скульптор мог отдыхать, предаваться невесёлым размышлениям, пить вино, орать песни с такими же несчастливцами, словом, потихоньку сходить с ума.

Конечно, Васю задевало, что лучшие заказы Моторин переадресовывал своему другану по рижской Академии художеств Рафику Айрапетяну.

— Почему он не едет в Армению? — как-то спросил я. — Там и камня много…

— Там бы его не допустили даже до форматорской работы. Это у нас в России он нашёл дураков…

Шеломов долго косился с неодобрением на работы Рафика Арменаковича, и однажды на просмотре одной скульптуры мэтра не выдержал и вопросил:

— А где уши?.. Где, я спрашиваю, уши?.. Они у него на щеках!

Батюшки! Что тут началось!.. Говорят, чтобы вызвать водяного, нужно взять огромный камень и бросить его в болото. Подобное этому и проделал Василий Петрович в Ульяновской организации художников. Немедленно явился «водяной»,

начальник художественного болота — Алексей Васильевич Моторин. Немедленно было созвано правление Союза художников. Немедленно и единогласно Шеломова исключили из организации, отказали ему в праве именоваться скульптором. Утром был скульптором, вечером перестал им быть.

Когда пишутся эти строки, с того времени прошло четверть века. На мой взгляд, судьба давала В. Шеломову шанс стать не таким, как все. Конечно, у него бы отобрали мастерскую, сырой подвал, но бесхозных углов в городе было много. Зарабатывать бы он стал много больше, шабашками. Лепил бы свои этюды, но об исключённом на родине Ленина скульпторе вскоре бы заговорили в Москве и т. д. Словом, перед Василием открывалась перспектива противостояния с власть предержащими, но он сломался. Стал кланяться, стоять на коленях «на горохе» перед членами правления, лишь бы его не выгоняли из мастерской, где ему было хорошо, то есть тепло и сыро.

Это, уточняю, происходило зимой 1980 года. Тогда я говорил Василию, что советской власти жить остаётся недолго, что все теперешние божки — Сверкаловы, Моторины, все их карательные органы — всё полетит в тартарары. Однако Василий предпочитал не рисковать, его вполне нравилась жизнь, которую он ведёт, иногда устраивая бунтарские всплески.

Однажды он написал на своём портфеле мелом: «Ищу работу!» — и стал ходить по Художественному фонду из одной мастерской в другую. Словом, делал себе афишу и довольно глупую. И вот он сидел в оформительском цеху, к нему подошёл незнакомый человек и заговорил. Вася окинул его взглядом, поскрёб рыжую бороду и вопросил:

— А ты кто такой?..

— Я куратор вашей организации по линии комитета госбезопасности.

— Ну и сколько тебе платят?

— Рублей четыреста, — промямлил не ожидавший такого вопроса гэбэшник.

— Мало! — рубанул Василий, чем поверг товарища в полнейшее замешательство.

Нужно сказать, что советская власть художников деньгами жаловала щедро. Художественный фонд был обязан выплачивать каждому художнику, то есть обеспечивать его работой, чтобы он получал не менее 450 рублей в месяц. Ровно столько получали армейские полковники. Нередко среднемесячный заработок живописцев, скульпторов, монументалистов колебался в пределах 700 — 1000 рублей. Жить на эти деньги при социализме можно было обеспеченно.

Васино выступление с портфелем было признано наглым. Зарабатывать наравне с доктором наук и утверждать, что вот-вот умрёшь с голоду?.. Да, с этим Василий хватил, однако.

На какое-то время после путча он воспрянул духом, горячо ратовал за Ельцина, за рынок. «Появятся богатые люди, — кумекал скульптор, — им нужна будет высокая скульптура. Ведь были же в России меценаты — Морозов, Мамонтов. А если взять веков пять назад? Были государства меценаты: Флоренция, Генуя, Венеция, папский престол, наконец, Лоренцо Великолепный…»

Но хозяева новой жизни напялили на себя красные пиджаки, золотые цепи, им до фени, чем занимается поседелый лепила глины, то бишь скульптор. А он изваял «Христа и двенадцать апостолов», работу очень интересную, но опять же, невостребованную. Далее появились рабочие модели уличных памятников «Александр Пушкин», «Основатель Симбирска Богдан Матвеевич Хитрово». Они выставляются, получают хвалебные отзывы горожан. Но Василий Петрович не дождался ни «дядю с тугим кошельком», ни губернаторов, ни мэров. И секретари обкомов, и внезапные владельцы заводов и буровых скважин одинаковы в одном: им безразлично искусство, они не хозяева жизни, а временщики.

Современные скоробогаты, скорохваты народного добра в наплевательском отношении к искусству продолжают традиции коммунистов. За 80 лет Советской власти в городе, а тем более в области не поставлен даже памятник А. Пушкину, который посетил Симбирск, имел здесь друзей, а его «Капитанская дочка» во многом написана на местных материалах. В Саратове есть писательская аллея, на которой установлены бюсты саратовских писателей. У нас с превеликим трудом, со скандальной надписью на постаменте установили памятник великому русскому художнику и мыслителю Аркадию Александровичу Пластову. Обо всём этом, о затмении сознания тех, кто представляет собой власть, думал и говорил Василий Шеломов.

По приезду в Ульяновск талантливый и энергичный скульптор сразу понял, что рядом с драмтеатром должен стоять памятник Е. Пугачёву, который в кандалах находился в подвале дома, что стоял здесь в XVIII веке. Шеломов выполнил ростовую фигуру в гипсе, и её для пробы, с одобрения руководства театра выставил в театральном фойе. Но Пугачёв пробыл в театре недолго. На один из спектаклей в театр явился Бабай, страшно разозлился, увидев мужика в колодках, и приказал выбросить его вон. Сердобольные театралы не решились выполнить варварское указание главаря областных коммунистов и спрятали скульптуру Пугачёва в подвал.

Говорят, что судьба человека — это его характер. Эрнст Неизвестный пошёл на столкновение с Хрущёвым и стал мировой знаменитостью. Василий Шеломов снёс плевок А. Скочилова и сразу определил себе на всю оставшуюся жизнь место — сырой подвал и безвестность.

А в таких судьбоносных случаях нужно обязательно ввязываться в противостояние. И, как говорится, Бог не выдаст — свинья не съест.

Переезд в Ульяновск

Наше недолгое пребывание с Людой в Инзе шло к концу. Я сдал весеннюю сессию и перешёл на четвёртый курс Литинститута, в райисполкоме меня едва терпели, видимо, местный кэгэбэшник ввёл в курс дела райисполкомовское начальство, что я, дескать, опасный тип, а здесь орган советской власти. И я, приехав из Москвы, уволился с работы. Нужно было перебираться в Ульяновск.

Для начала я решил поехать и устроиться на работу, найти квартиру и потом перевезти в город жену. Детей у нас не было и это весьма облегчало задачу. Сев на московский поезд я к 9 часам утра был в Ульяновске. Доехал до центра, нашёл телефон-автомат и позвонил Ивану Васильевичу Лежнину. Я не знал, как примет он меня, но надеялся, что он не забудет своих обещаний. Я познакомился с ним несколько лет назад в Омске в мастерской одного живописца. Он приехал в Омск, чтобы устроиться на какой-нибудь попутный пароход и уйти на Уренгой, другие месторождения, где вовсю кипела работа, и нарисовать серию портретов героев буровых и первопроходцев.

Я без колебаний вызвался помочь Ивану Лежнину, тем более он откровенно сказал мне, что с деньгами у него трудно. А помочь мог Мысаков, капитан буксира, который собирался отправиться с караваном барж в район Салехарда. Мы с Лежниным помчались на трамвае в затон, чтобы не упустить Мысакова. И нам повезло: он был на мостике и приглядывал за погрузкой в трюм ящиков и мешков с продуктами.

— Это здорово, Иван Васильевич! Условия у нас простые: на палубу не плевать, за питание будете платить, как и вся команда, — один рубль в сутки.

Нашлась Лежнину и крохотная каютка. На прощание Иван Васильевич дал мне свой ульяновский адрес и телефоны. И вот через несколько лет я разговариваю с ним по телефону.

— Это кто говорит?..

— Это Николай из Омска, помните, я вас в Салехард на буксире отправлял?..

— Как же помню! Ты давай ко мне, я на пятом этаже живу.

Через несколько минут я был в однокомнатной холостяцкой квартире, обильно уставленной пустыми винными и водочными бутылками…

— Это ко мне москвичи приезжали, художники. Вино и водку выпили, а посуду оставили, просто срам!.. Не знаю, что и делать. Ума не приложу.

Лежнину было почти пятьдесят лет, мне он казался стариком. Это был мужик с простецким вятским лицом, немного увалень и походка у него была утиная, вразвалку.

— Раз бутылки мешают, их нужно сдать! — глубокомысленно промолвил я.

— Правильно! — обрадовался Иван Васильевич, будто я указал ему на свет в конце тоннеля.

Стеклотара едва уместилась в четырёх огромных сетках. Без проблем мы отнесли её в стеклоприёмный пункт. На вырученные деньги Иван Васильевич купил бутылку водки и закуску.

— Значит ты, Николай, из сибиряка хочешь превратиться в синбиряка, — подытожил Иван Васильевич и заторопился. — Пойдём!..

Мы вышли на улицу Гончарова, миновали коробку строящегося издательства и поднялись на второй этаж старинного здания. Лежнин толкнул какую-то дверь, и мы протиснулись в крохотную комнатёнку, где каким-то образом умещались два письменных стола, за которыми сидели редактор «Ульяновского комсомольца» Геннадий Семёнович Лёвин и ответственный секретарь газеты Геннадий Иванович Дёмин.

— Вот, — поздоровавшись, сказал Лежнин. — Рекомендую вам поэта — сибиряка, со всех сторон талантливого. Может, он вам пригодится?

— А что, — сказал Лёвин. — Рекомендация достойная, да и мужик вроде ничего. Пиши заяву!

Я тут же на краешке стола написал нужную бумагу и был принят в редакцию на должность литературного сотрудника с окладом 110 рублей. Рублей пятьдесят можно было заработать на гонораре. Полагались ещё и льготные выплаты.

— Вот только с жильём у нас плохо! — сказал Лёвин.

— Пока у меня в мастерской поживёт. К осени что-нибудь решится.

— Завтра выходи на службу. А приказом я оформлю с сегодняшнего дня.

— Кажется, мне повезло, — сказал я, когда мы вышли из редакции.

— Хороших людей гораздо больше, чем кажется, — мудро заметил Лежнин.

Мастерская была рядом с редакцией, высокая в два этажа квартира с антресолями. На мольберте стояла картина «Ленин и Киров», которую, как я потом узнал, Иван Васильевич дорабатывал больше года.

Он стал показывать мне свои картины. Конечно, он знал в своём ремесле почти всё.

Иван Лежнин был интеллигентом в первом поколении. Родился в глухой вятской бесхлебной деревушке и до 1951 года, пока не закончил Рижскую Академию художеств, вряд ли когда бывал сыт. Сначала голодная деревня, затем голодный Ленинградский фронт, затем Рига. Учась в академии, Иван Васильевич подрабатывал официантом. Один раз в латвийской деревне с портретами советских вождей он едва не попал в лапы националистов, и бандиты бы его не пощадили. И вообще всю жизнь Лежнина сопровождала неустроенность. Первый брак не сложился. Из Иркутска он переезжает в Ульяновск, под тяжёлое крыло Моторина. Легче в житейском плане стало жить после женитьбе на Лизавете Петровне, которая сразу поставила вокруг мужа оборонительно-сигнальную линию.

Следующий день я провёл в редакции, познакомился с коллективом, сделал текстовки к двум снимкам Галагозы. С интересом узнал, что сотрудники редакции: Женя Мельников, Володя Дворянсков, Толя Наумов пишут стихи, ответственный секретарь редакции Дёмин закончил Литинститут по прозе, а редактор Гена Лёвин блестящий очеркист и певец природы своего родного Сурского края. Мастером своего дела был фотокор Авксентий Галагоза, у которого только что состоялась персональная фотовыставка.

Сейчас, готовясь писать эти записки, я просмотрел некоторые номера газеты «УК» за 1973–1976 г.г. Конечно, печатался и официоз, но много было стихов, рассказов, литературных рецензий, заметок об истории края, то есть того, что сейчас беспощадно выкинуто газетными баронами, как лишнее. А тогда в стихах нуждались партийные органы: во время партийных конференций обязательно звучали приветствия пионеров, куплеты для которых заставляли сочинять нас, корреспондентов «УК». Помнится, я выдал такой шедевр, после озвучивания которого юными ленинцами в Мемориале звучали аплодисменты, переходящие в овации:

— Всем живущим в Барыше,
Труд и песня по душе!

В первый день моей работы сочинять ничего не пришлось. Я получил командировку в Инзу и вечерним поездом уехал к жене. У меня было три дня, за которые я должен был привезти материал о летнем военно-спортивном лагере, который располагался недалеко от Оськино.

Настроение у меня было приподнятое: наконец-то я развязался с Инзой, устроился в газету. Люда радовалась тому,

что был рад я, и просто светилась изнутри заревом счастья, которое, не потухая, пылало в её сердечке. Сейчас на склоне дней, я могу сказать, что Господь дал мне два счастливых дара — Людочку и поэзию.

По пути в военно-спортивный лагерь нас застала гроза. Боже, как она была прекрасна тёмно-синим наплывом тяжёлых туч, высверками дальних молний и раскатами грома. И вот пошёл дождь, сначала неспешный, и пшеничное поле, посреди которого он нас застал, зашуршало сухими колосьями и листьями, потом под порывами ветра пошатнулось в одну, потом в другую сторону. Гром ударил так низко над головами, таким чудовищным раскатом, что мы бросились с Людой навстречу друг другу в объятия. Грозовая стихия наполнила наши сердца первобытным ощущением жизни, и это запомнилось нам навсегда.

Поэт, воин, учитель Николай Рябинин (Сидоров)

Участник Великой Отечественной войны с первого до последнего её дня, он не ожесточился, не очерствел душой, сохранил в себе неразрывную связь с жизнью и природой родного края. Поэт обладал негромким и проникновенным поэтическим голосом. Он был скромным человеком, не гнался за известностью, его поэзия почти неизвестна современным читателям, и пришла пора дать ей справедливую оценку.

Я не был коротко знаком с Николаем Романовичем, чтобы иметь право назвать его другом. Но мы были товарищами по поэтическому цеху. Он несколько раз одобрительно отзывался о некоторых моих стихах. В 1977 году вышла его книга «Голос во ржи». Я её прочитал, и она пробудила во мне некоторые мысли, которые я вложил в рецензию, опубликованную в газете «Ульяновский комсомолец». Помнется, с ней не согласился Николай Благов, который ревниво поглядывал на всех поэтов с пьедестала, сооружённого для него местной партийной властью.

В начале 1980-х мы жили с Николаем Романовичем рядом возле Свияги на улице Аблукова. Изредка встречались, но разговаривали мало. Стояли, смотрели на течение Свияги, каждый из нас думал свою, одну ему ведомую думу, затем кивали друг другу, прощались и расходились по домам.

12 октября 1985 года я пришёл с ним проститься, уже навсегда. Вот эта рецензия.

Солнышко в роднике

«…Я услышал голос, будто эхо из детства, заплутавшегося на тропинках памяти, обожжённой войной, это был шепоток колосьев, отягощённых налитостью августовских зёрен. И мне почудился в этом бесхитростном и чудном песнопении зов земли, едва пробудившейся под тяжёлыми мартовскими снегами, земли, которая таит в себе неисчерпаемую силу будущего расцвета, и бой перепелов во ржи, и здоровый румянец августовского яблока, и леденцевато жгучую прохладность родника, когда рабочее солнце стоит в зените, и неуёмную жадность грудного младенца к налитым материнским соскам.

Что ж, восемь изб. Кругом леса, леса.

О чём ещё тут потолкуешь вволю?
Да и ни кто-нибудь в деревне родился,

А человек…
Не интересно, что ли?

И действительно, о чём толковать, о каких зряшных вещах пустословить, когда рядом жизнь — на расстоянии вздоха, на расстоянии меткого и сочного слова?.. Нет, существует поэтическая истина, и её простота, доступная прозрачность вполне подвластна Николаю Рябинину, поэту, чей талант вправе рассчитывать на более широкое признание.

Николай Рябинин не строит своего особенного «поэтического мира» из кружев словес и сомнительных утверждений, чем подчас ещё грешит наша поэзия. В таком чётко зарифмованном, а порой и даже не зарифмованном мире вторичных и умозрительных конструкций холодно, как в ледяном доме, и порой человеческая душа застеклена от животворящего мира болезненным отчуждением и обособленностью. Но поэзия воспитывает душу, и поэтому она обязана быть доброй, как всегда бывает доброй к человеку земля, которая вскормила его. Именно такое поэтическое видение мира у Николая Рябинина.

На первый взгляд его поэзия рискует показаться обыденной. Те «восемь изб», о которых он повествует, мир деревенский за околицей, ведь, правда, на первый взгляд, это узко? Однако, вчитываясь в строки его последнего сборника «Голос во ржи», выпущенного недавно Приволжским книжным издательством, начинаешь понимать, насколько многомерен, насколько плотно населён образной системой этот бесхитростный мир человеческих будней. Ведь нет ни намёка на какие-то, допустим, драматические события, повествование идёт на одном дыхании, но за всем этим встаёт, заслоняя собой всё, жизнь. Да так встаёт, что и в голову не приходит засомневаться: а было ли это на самом деле?

Речка называется Трофимовкой…
Жил когда-то, говорят, Трофим,
Слушал, как в кустах поёт малиновка
Как щебечет ласточка над ним.
Липы придорожные окапывал,
По оврагам чистил родники
И смешную славу зарабатывал —
Гоготали вслед озорники.
Мол, опять блаженненький с лопатою.

Ну, копай, Трофимушка, копай!
И вода, от солнца розоватая,
В родниках бурлила через край.
И стекались ключики звенящие
Отовсюду до поры, пока
Не возникла речка настоящая,
Не поплыли в речке облака!

Вот и всё. Но сколько за этими шестнадцатью строчками стоит теплоты, сердечности и нашей русской жизни!

Поэтический мир Николая Рябинина открывается читательскому сердцу не сразу — виной тому кажущаяся скупость изобразительных средств. И действительно, словарный диапазон поэтического языка поэта невелик. Это — окружающие поэта предметы, явления, но зато с какой уверенностью, и уверенностью оправданной, ставится каждое слово, как не надумана, а в художественном смысле отменно простодушна каждая мысль! И всё потому, что Николай Рябинин пишет о вещах понятных ему, о явлениях, пережитых им непосредственно, о чувствах, рождённых его душой в столкновениях явлений, мимо которых, увы, как много людей проходит равнодушно, ибо вовсе не замечают их.

В этой связи закономерен вопрос: а нужно ли вообще писать о таких привычных вещах, как, скажем, перезревший весенний снег или васильки на хлебном поле?.. Видимо, нужно, поскольку речь ведётся поэтом о жизни человеческой, о судьбе близких и родных людей.

«Голос во ржи» — своеобразная итоговая книга Николая Рябинина, на счету которого уже несколько ровных и интересных поэтических сборников. Итоговость книги прослеживается не только в её временном охвате (в сборнике есть стихи о войне, в которой участвовал поэт и стихи последнего времени), но и в том, что книга подводит черту над философскими раздумьями человека, вернувшегося живым и сохранившего в себе поэзию. Отсюда, видимо, обострённая пристальность к человеческому добру, к своей «небольшой родине», отсюда — постоянный и терпеливый разговор с самим собой, разговор, вызванный самым замечательным человеческим чувством — удивлением красотой жизни. Отсюда — неторопливость интонаций, ибо поэт бережен, он словно боится спугнуть озарившее его удивление. Отсюда — мудрость крестьянина и незыблемая уверенность в прочности нравственных устоев человеческого сообщества.

Без суетливости и заламывания рук Николай Рябинин пишет о судьбах современной деревни. Его тоже «терзают грани между

городом и селом», но поэт видит в этом неизбежную смену жизненной ситуации, необратимое течение времени. Этими чувствами навеяны многие стихотворения сборника. «Жили-были старик со старухой» и др.

Живёт в селе Тетюшское русский поэт Николай Романович Рябинин. «Горжусь своей долей, но если заглянете в душу мою, поймёте — печальные песни недаром я часто пою… Увижу, мой друг умирает в промозглой окопной тени, и хаты вдали догорают, где вдовы да дети одни…» Так писал поэт о себе и о своём поколении. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить».

«Солдаты Отчизны»

Вскоре после моего прихода в комитет по телевидению и радиовещанию в 1976 году меня пригласил к себе заместитель председателя Константин Петрович Воронцов и обрисовал круг моих обязанностей:

— Главное, конечно, литературно-драматические передачи, тут ориентируйся на режиссёров — Бунич, Чернышёва, Шпоркину. Они на этом деле собаку съели. Второе. Далее, мы ведём на телевидении получасовую студийную передачу «Солдаты Отчизны». Ты можешь вести её сам, но давай лучше пригласим Дмитрия Яковлевича Старостина, нашего Героя Советского Союза, как думаешь?..

— Только одно условие, — сказал я. — Пусть передачи пишет сам, а то неудобно Герою за выступление в кадре платить пять рублей. Пусть он напишет, о чём будет беседа, а я составлю папку и оплачу как положено.

— Ну, вот и договорились!.. — с воодушевлением, причины которого я не понял, воскликнул Константин Петрович. — Ты никуда не исчезай, а я позвоню Старостину в управление кинофикации.

Дмитрий Яковлевич был публичным человеком, он часто появлялся на общественных торжествах и никогда не производил впечатления себялюбца, которые, что греха таить, случаются даже среди людей, отмеченных подвигами и наградами. «Геройство» органически шло Дмитрию Яковлевичу, оно было самого естественного толка, не разило придуманностью, и уж, упаси господи, хвастовством. Впрочем, тогда уважение к героям было общенародным, они отождествляли всю славу страны, победившей нацистских извергов.

Во время нашей первой встречи так уж просто без затей получилось, что мы сели в кинопрокатскую «Волгу» и выехали за город. Организовался небольшой стол: бутылка шампанского и бутылка столичной с закусочной принадлежностью. Погода была прекрасная, со взгорка видна была играющая своими поворотами Свияга, поля спелого хлеба, тронутые золотым увяданием берёзовые рощи.

Дмитрий Яковлевич выпил небольшой бокальчик шампанского, мы с Воронцовым испробовали сорокоградусной, и начался деловой разговор.

Константин Петрович был дошлым журналистом, он подложил под наше предложение Старостину стать ведущим соответствующую подкладку:

— Дело у нас к тебе, Дмитрий Яковлевич, — начал Воронцов. — Вот наш поэт выдвинул идею, что нужно возобновить передачи «Солдаты Отчизны». Раз в месяц приглашать одного-двух человек: Героев, Полных кавалеров Славы — пехотинцев, артиллеристов, сапёров, лётчиков, танкистов, разведчиков. Но это ещё не всё — нужен ведущий, а кроме тебя, некому им быть. Что скажешь?

Дмитрий Яковлевич не стал заставлять упрашивать себя, а просто сказал:

— Давай попробуем! Много заслуженных героев войны пребывают в безвестности, надо о них напомнить людям.

Через день я созвонился с Дмитрием Яковлевичем, и он предложил сделать передачу о снайпере Петре Голиченкове, уничтожившем 140 солдат и офицеров противника. Телепередача прошла достойно, правда, Голиченков чувствовал себя неважно, сказывались тяжёлые болезни, полученные им в болотных траншеях Ленинградского фронта.

Прошли ещё две-три передачи. Шли они «вживую» после короткой репетиции, и многое в их успехе зависело от ведущего. Старостин уверенно справлялся со своими обязанностями. Герои передач не были профессиональными говорунами, свет в студии, строгая обстановка — всё это сковывало людей, мешало им раскрыться, но Дмитрий Яковлевич был неслабым психологом, например, кратко вспомнив эпизод из своей боевой жизни, он вовлекал в откровенные воспоминания своих собеседников.

Константин Петрович был сторонником общений, то есть мужских застолий и с удовольствием воспринимал приглашения Старостина отдохнуть на природе после получения очередного гонорара. Я не решался расспрашивать Дмитрия Яковлевича впрямую об его подвиге, но кое-что из наших бесед мне помнится.

«Ранение в живот, которое я получил на фронте, было тяжёлым, — как-то неожиданно сказал он. — Я провалялся в госпитале до конца войны, врачи поставили меня на ноги, но до конца не вылечили. Тогда обезболивали морфием, и я к нему привык. Лечащий врач сказал, что нужно перетерпеть, и тяга к наркотику со временем пройдёт. Последние его слова были: «Если уж невмоготу станет, выпей водки».

Приехал я в Ульяновск и сразу пошёл в десятый класс, у меня среднего образования не было. Учился в вечерней школе. Днём на работе к морфию не тянуло, а вечером иногда до темноты в глазах приступы были. Вот я по дороге в школу заходил в буфет на Гончарова в подвале, выпивал стакан водки и в класс. Так и отвык от морфия, но к водочке приохотился. От неё избавился тем, что перешёл на шампанское».

Как я боролся с пьянством

Как это ни прискорбно, но вынужден признаться, что в 1970х годах я боролся с пьянством в областном масштабе с помощью звуковых и визуальных средств массовой информации. Причину, по которой я был назначен на участок борьбы с «зелёным змием», мне объяснил непосредственный начальник за дружеской попойкой в его служебном кабинете.

— Не женщину же назначать на этот участок, — резонно рассудил зампред телерадиокомитета Константин Воронцов, поднимая стакан. — Ты это дело знаешь. И не сопьёшься. Я предложу твою кандидатуру предкомитета Милюдину. Есть возражения?..

— Возражений нет. Но есть предложение, — многозначительно звякнул я своим стаканом о стакан шефа…

Указ по борьбе с этим негативным явлением в обществе, которое после 1980 года, как это записано в программе КПСС, было обречено жить при коммунизме, действовал с 1972 года. Предусматривалось увеличить потребление слабоалкогольных напитков: пива и сухих вин. Практически при всех значительных предприятиях страны создавались наркологические кабинеты, а в каждой области — лечебнотрудовые профилактории. Кино, телевидение, радио, газеты обязали освещать борьбу с таким антиобщественным явлением как пьянство, пропагандировать здоровый образ жизни. Наш председатель телерадиокомитета счёл, что для этой работы я вполне гожусь, и кроме программ по литературе, искусству, патриотической тематики, возложил на меня участие в борьбе с пьянством.

Разобравшись в существе вопроса, я выяснил, что борьбу с пьянством ведут медвытрезвители и наркодиспансеры. С ними я и познакомился в первую очередь. Отдел медицинских вытрезвителей УВД области размещался тогда на ул. Железной дивизии, напротив ГПИ-10. Ему подчинялись районные медицинские вытрезвители. Население крайне негативно относилось к деятельности вытрезвителей. И причины для этого были весьма основательные. В основу их работы были положены плановые показатели, спецмашины подбирали на улицах не только безнадёжно пьяных, но и находящихся даже в лёгкой степени опьянения. Эти люди оказывали сопротивление, их избивали, связывали. Для многих граждан медвытрезвители стали первым классом школы антисоветского воспитания, многим людям помещение на вытрезвление сломало карьеру. Особенно это часто происходило во время второго наступления на пьянство,

объявленного в 1985 году, когда борьбу с употреблением алкоголя на семейных торжествах возглавили партийные комитеты всех уровней. Безалкогольные свадьбы, именины, похороны — это уже был маразм государственного уровня, последние судороги прогнившего режима.

В 1977 году борьба с пьянством была ещё почти пристойной, иногда выглядела, как отеческий надзор государства над оступившимися подданными. На предприятиях выявляли больных алкоголизмом и направляли на лечение в наркологические кабинеты без отрыва от производства. В первую свою «творческую» командировку я побывал в наркокабинете при патронном заводе. В пустую комнату, где находились только тазы и стулья, вошли с десятка полтора работяг, заступающие во вторую смену. Всем им сделали по уколу, они взяли в руки тазики, а врач стал их убеждать: «Вам плохо! Вам очень плохо!..» Минут через пять все присутствующие согласились с врачом и начали рыгать. От вони и судорог больных людей я выбежал на улицу. Кинооператор Володя Тихонов, вынужденный заснять этот процесс для ТВ, вышел из наркокабинета бледный, как мел. Что и говорить — зрелище не для слабонервных.

С начальником областного отдела медвытрезвителей подполковником Киктенко у меня сложились хорошие отношения. С его подачи я организовал несколько выездов с киносъёмкой на места скопления алкашей. На многих заводах использовался в технологических процессах спирт, и пьяными люди выходили уже из проходных, и тут же в кустах добавляли. Бывали и курьёзные случаи. Однажды днём, а снимать на плёнку можно было только в светлое время, мы в поисках выпивох подъехали к Свияге в районе Тутей. Оператор, нацеленный на съёмку, заметил двух мужиков, беседующих возле бутылки водки. Те тоже заметили нас, затравленно оглянулись (мы их оцепили возле холодной осенней речки) и, захватив стакан и бутылку, смело пошли в воду.

— Выходите, а то простынете!.. — звал их старший лейтенант Витя Анисимов. — Мы отвезём вас погреться!..

— Нет! Нам и здесь хорошо!.. — отвечали мужики и, видимо, для сугреву, стоя почти по подмышки в холодной воде, хлопнули по полстакана водки.

Володя Тихонов снял занимательный сюжет, и я дал команду к отступлению: нам-то смех, а мужички легко могли подхватить воспаление лёгких.

Между прочим, довольно часто сотрудники медвытрезвителей, забирая пьяных, случайно раскрывали серьёзные преступления. Однажды в Димитровграде патруль

задержал пьяного в лоск мужика, у которого при себе оказалось несколько килограммов золотого песка. Но это не меняло сути дела: милиция оскорбляла, избивала многих случайно выпивших людей, и это откладывалось в народном сознании. А то, что многие пьяные были подобраны на снегу в мороз, остановлены в невменяемом состоянии и спасены от возможного нападения грабителей, это как бы ни учитывалось.

Апофеозом моей борьбы с пьянством была поездка творческой группы телевидения в Новоспасский лечебно-трудовой профилакторий, в результате которой был снят фильм. Возможно, он ещё и хранится в архиве телекомпании «Волга».

Итак, где-то в феврале 1977 года, в сопровождении майора из отдела исполнения наказаний УВД, мы выехали в рабочий посёлок Новоспасское. Через три часа мы остановились возле стальных ворот ЛТП, прошли через проходную, а навстречу нам бежал ладный майор внутренних войск, начальник или «хозяин» «пьяной зоны». Специфика ЛПТ заключалась в том, что он не был исправительным учреждением в чистом виде. Система лечебно-трудовых профилакториев относилась к МВД и Министерству здравоохранения, но всё равно порядки в нём были практически лагерные. Побег из ЛТП заканчивался арестом и уголовным судом. Кажется, заключённые в ЛТП имели право участвовать в выборах.

Майор был доволен нашим приездом: ему казалось, что его учреждение является образцовым и реклама на телевидении выглядела как поощрение. В первую очередь он провёл нас в больницу, где представил главврачу, капитану внутренних войск. Больница, как я понял после осмотра, была действительно хорошей: просторные небольшие палаты для больных, где все прибывшие в ЛТП подверглись трёхмесячному лечению, оборудованные новой медтехникой врачебные кабинеты.

— Алкоголики имеют большой букет заболеваний, вызванных злоупотреблением спиртными напитками, — просветил нас главврач. — Это сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, язва желудка, болезни кишечника, почек и прочее…

В ЛТП граждане алкоголики и тунеядцы направлялись по решению суда, опиравшегося на выводы медицинской комиссии, на срок от одного до двух лет. Одиноких оформлял участковый, а семейные попадали в ЛТП чаще всего по заявлению жён, которых милиция просто дурила. Начнёт муж закладывать за воротник, пропивать треть зарплаты, жена в панике, ищет помощи у участкового. Заканчивается это заявлением с просьбой поместить на лечение в ЛТП. Муж пашет в ЛТП «за того парня»; жена с детьми получает от него мизерные алименты, да ещё ей

приходиться возить передачи мужу.

— А не можете ли вы организовать заседание народного суда, чтобы он освободил парочку принудбольных? — спросил я майора.

— Это можно! — с готовностью согласился он.

После обеда в клубе началось заседание суда. Первым освободили молодого парня, который после армии устроился на пивзавод и за два месяца стал пивным алкоголиком. Вторым был лысый дядька, заявивший, что пить ему нельзя, иначе помрёт. Суд счёл это заявление достаточным, а я был рад, что удалось освободить от каторги двух человек.

Кинооператор Володя Тихонов снял суд, виды зданий, жилые помещения, столовую, медкабинеты, сжав зубы, пошёл снимать лечение алкоголиков и выскочил оттуда, как ошпаренный.

— Нет! Не могу!

Спецконтингент ЛТП работал на заводе по производству силикатного кирпича, обойной фабрике, разгружал вагоны. Часто устраивались работы в субботу и воскресенье — выходные дни. Эти работы производились по распоряжению районных властей. Оплачивались они по аккордным расценкам, поэтому в ЛТП меня поразило обилие новых телевизоров и корпусной мебели.

Новая власть сочла ЛТП учреждениями, грубо нарушающими права человека, и ликвидировала их. Уже двадцать пять лет народ пьёт всякую опасную для здоровья жидкость, мафия грабит здоровых людей, набивает карманы, а первому и второму президенту всё это до лампочки.

А что до меня, то я поучаствовал и во второй попытке советской власти уничтожить питие хмельного на Руси. Случилось это в 1985 году. Моя фамилия появилась на пятидесяти тысячах экземпляров постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» как «ответственного за выпуск». Этот плакат выпустил Ульяновский Дом санитарного просвещения, а я там редактировал ежегодные медицинские сборники.

Редакционные тени

Областные комсомольские газеты в 1970-х годах отличались простотой общения между сотрудниками, в них работали многие тогда начинающие писатели, которым служебная карьера была «по фигу», они набирались общественного опыта, постигали изнутри, как устроен механизм власти и, поработав некоторое время, расставались с постылой журналистской подёнщиной.

В Литинституте со мной учился Володя Шириков, редактор «Вологодского комсомольца», уже тогда автор хорошей книги прозы. Её выход редакция отметила своеобразно: журналисты во главе с редактором закатились отмечать это событие на дачу и крепко загуляли. На третий день пиршества обнаружилась недостача вина и закуси. Послали самого молодого на железнодорожную станцию, и тут же всей редакцией решили подать заявления на увольнение, поскольку за пьянкой очередной номер газеты не был выпущен в свет. Эти планы нарушил «гонец», он принёс свежую газету. Кто её выпустил, было загадкой. Наконец, догадались — газету выпустил студент, которого прислали к ним на практику из МГУ.

У нас в «Комсомольце» таких крайностей не было, но и мы вели себя раскованно и вольно, хотя знали, что за нами следит недрёманное око обкома партии. Собственно, линии, идущие к нему, были рядом, в соседних кабинетах, где размещалась областная партийная газета. Её журналисты поглядывали на нас свысока. Каждый из них мнил себя «золотым пером», но в действительности там работали неудачники, большинство из которых пытались в своё время писать стихи или прозу, однако ничего у них не получилось, и они постепенно свыклись с утратой горячих юношеских надежд и стали подёнщиками идеологического фронта. Наблюдать за ними было интересно и поучительно, особенно за теми, в ком клокотали скрываемые ото всех «вулканчики» самолюбия, зависти и обиды на свою судьбу.

Вот они всплывают в моей памяти, как тени, в полутёмном коридоре редакции (в их кабинеты я даже не заглядывал): прихрамывая, идёт отягчённый задачами, поставленными перед ним на бюро обкома партии, редактор Колодин, за ним устремляется тоже хромой зам. ответ. секретаря газеты Вася Кириллов с набранной полосой для очередного номера газеты. Сегодня он слегка выпил, к вечеру наберётся и устроит редактору скандал с выкриками, что его не ценят. Колодин на бунтаря не обратит внимания и отправит Васю отсыпаться домой.

Вот из-за угла коридора показался нос, а затем явился весь

целиком зав. отделом культурной жизни Николай Малинин, редкостный себялюбец, обуреваемый жаждой мщения певцу подвига Александра Матросова поэту Андрею Царёву. Малинин обмозговывает своё выступление на собрании творческой интеллигенции города, где он обвинит Царёва в плагиате, а пока он хватает меня за рукав и просит определить автора стихов, которые напечатал ненавистный ему поэт в районной газете.

Вот в мятом костюме самодовольно движется ответственный секретарь газеты Владимир Баболин, враг пустой бутылки и ярый сторонник полной, посвятивший вопросу сдачи стеклотары несколько больших, на всю газетную полосу, статей, постоянно грызущий жареные подсолнечные семечки, чтобы отбить винный дух. Он выходит в холл, освещённый большим окном, и присоединяется к беседующим заместителям редактора Игорю Хрусталёву и Михаилу Белоусову, большому меломану, не далее как вчера заявившему выступавшей в конференц-зале редакции виолончелистке с мировым именем, что она правильно делает, выступая соло, а, подучившись, сможет играть в симфоническом оркестре.

Игорь Хрусталёв — умница, единственная светлая голова в редакции — терпеливо выслушивает коллегу, который требует уступить большее место в газете его тоскливо-нудному повествованию о новых методах стойлового содержания коров, у которых от стояния в бетонных стойлах растут неимоверные копыта, и бурёнки не могут ходить, и наросты приходится обкусывать кузнечными клещами.

Вот, приоткрыв дверь, из кабинета высунулся корреспондент отдела информаций туповатый, но пронырливый Стас Жмырёв, уже примеривающий в своих куцых мыслишках ондатровую номенклатурно-обязательную шапку инструктора отдела пропаганды обкома партии, а в последствии Главный цензор области.

Вот бедолага Илюша Листопадов, сочинивший про себя в некотором роде бессмертные строки: «Листья падают, листья падают… Эх, Листопадов я, Листопадов я!..», безобидный малый, которого уволили из редакции по пьяному делу, но, усмотрев в нём ценную творческую личность, за ним примчался председатель телерадиокомитета, его тёзка Илья Милюдин, и падший журналист воспрянул духом и впоследствии стал ведущим тележурналистом области.

Вот выплывает из своего закутка пышная, как свадебная подушка, Фаина Вайнерман, ярая коммунистка, гонительница старух, торгующих цветами на улице Гончарова, она видит в этой торговле не вырванные до конца революцией и репрессиями

корешки буржуазного сознания и вытравляет их своими помойно-доносительскими статейками. Она страшно боится, что её заподозрят в сочувствии к сионизму, но пройдёт совсем немного лет и Вайнерман уедет в США, и мы услышим её возмущённые речёвки по «Голосу Америки» о том, как её преследовали на родине Ленина за сочувствие американской демократии, а между тем обкуренные «дурью» демократические молодые янки вскоре затопчут её сына насмерть в занюханной дискотеке.

Вот с кипой обкомовских постановлений промчался в свой кабинет всегда молчаливый и похожий на приказного выжигу времён царя Алексея Тишайшего тайновидец кадровых перестановок в номенклатуре зав. отделом партийной жизни Михаил Горяйнов, горящий желанием занять редакционное кресло, что ему со временем удастся сделать, но с которого он полетит вверх тормашками, сброшенный последней ревнительницей трезвого развитого социализма секретарём обкома партии Баскаковой, и рухнет на дно, забомжует, и, в конце концов, бесследно распадётся на атомы среди кутерьмы воровства и предательства, обуявших его бывших сотоварищей по заседаниям бюро обкома КПСС.

Вот бодрым козликом проскакал в горяйновский кабинет молодой журналист Коля Марянин, которого Горяйнов прочил на своё место, пока ещё идеалист последнего разлива, но уже обуреваемый сильными подозрениями, что сталинские репрессии уничтожили настоящих большевиков, и Бухарин вскоре явится ему как преступно погашенный светоч демократии и социализма с человеческим лицом. И Марянин будет ездить на «бухаринские симпозиумы», писать на эту тему статьи, одновременно вступив в Антибюрократический центр, где верховодили будущие вожди ульяновских демократов, но на этом не закончатся зигзаги исканий конечной правды для журналиста. Он с азартом молодой шавки облает Ленина, идеалы коммунизма и заставит памятник вождю бродить, как пушкинского командора, по Ульяновску. Но лирический отступник от партийной клятвы не успокоится, настрочит два графоманских гимна: один — города, другой — области, и увенчает себя лаврами провинциального гимнюка.

В этих картинках нет ни капли преувеличения, журналисты того времени жили и работали в заданном им партийном измерении и сами, как и идеология, были бесконечно далеки от реальной жизни в своих каждодневно тиражируемых видениях того, чего на самом деле не было.

Укрощение оськинского иерея

Сейчас нередко можно слышать похваливания Хрущёва за «оттепель», но крепко забыто то, что Никита Сергеевич с маниакальным упорством преследовал православную церковь. На всю Ульяновскую область было всего три-четыре храма, из них один в селе Оськино, большом преимущественно мордовском селе, рядом с Инзой. Храм не пустовал. Одно только огорчало прихожан: священником был малообразованный, порядком надоевший пастве своими выходками бывший конюх.

Появление молодого иерея вызвало среди всех жителей Инзы неподдельный интерес. Услышав о нём два-три восторженных отзыва, я заинтересовался, и погожим осенним днем вместе с женой отправился в Оськино, благо, что дом, в котором мы жили, стоял на самом краю райцентра. Сойдя с дороги, мы прямиком пошли в сторону видневшегося храма, мимо стройки будущего комбината нетканых материалов.

Нужно отдать должное жителям Оськино, они сумели после войны добиться от властей разрешения на открытие прихода. Храм начал действовать, а на социалистической биографии Инзенского района появилось клерикальное пятно, которое изо всех сил пытались вывести советские и партийные органы. Одной из антирелигиозных задумок уничтожить приход была постройка почти вплотную к храму здания средней школы. Мыслилось окружить храм и верующих воинствующими безбожниками, которые бы хулиганили, портили церковное имущество, но произошло нечто неожиданное: юные оськинцы не озоровали, а стали посещать храм, сначала из любопытства, а потом и по велению души.

Мы вошли в него, когда там шёл обряд венчания. Жених и невеста, коренастые и краснолицые, но не от смущения или волнения, а от полевой крестьянской работы, стояли возле аналоя, а молодой простецкого вида священник совершал обряд. Я заметил на лацкане пиджака у жениха депутатский значок и подумал, что влетит этому депутату, определённо члену КПСС, от товарищей по партии, если его поступок получит огласку. Тем временем моя жена уже познакомилась с молодой попадьей, которая всем желающим рассказывала, как она с мамой поехала в Троице-Сергиевскую Лавру, там познакомилась с выпускником духовной академии, как их брак благословил сам патриарх, словом, всё это было слушать интересно. Сама попадья окончила Куйбышевский планово-экономический институт. Скромно призналась, что с детства мечтала стать женой священника, и

мама её воспитала в строгости и православии.

Вот так мы с женой полюбопытствовали и ушли. Я на месяц уехал в Москву, а когда вернулся, узнал, что над оськинским иереем сгустились враждебные тучи. Шли они из райкома партии, который возглавлял тогда А.Терёхин, из крутых партийцев, весьма подпорченных кумовством и страстью к дензнакам.

В обострённом внимании парторганов к оськинскому храму был отчасти виноват и молодой священник. Он стал ходить по домам причащать и соборовать умирающих христиан, причём делал это открыто, то есть в рясе шёл по улицам города, и это было расценено нашими руководящими атеистами как вражеская пропаганда. Его предшественник жил в Оськино, а молодому иерею церковная община купила добротный дом недалеко от райкома партии, что тоже было воспринято как вызов, на который требовалось дать жёсткий ответ.

Собрали бюро райкома партии и стали решать, как выковырнуть попа из инзенской почвы. Было много предложений, но остановились на самом идиотском, которое внёс райвоенком: призвать попа в армию. А что? Призвать голубчика, пусть послужит Отчизне где-нибудь в стройбате.

Военкомат посылает ему повестку, но священник в ответ предъявляет справку, что у него грыжа. Собирается бюро райкома снова и решает: положить попа в больницу и сделать ему хирургическую операцию, то есть вырезать грыжу. Но поп не хочет делать операцию, не с милицией же затаскивать его на хирургический стол? И защитники у него нашлись — всякие религиозные старички и старушки, охраняют своего священника.

Скандальная ситуация разрешилась неожиданным образом — телефонным звонком из Управления по делам религий при Совмине СССР. Инзенским держимордам просто сказали: оставьте попа в покое. Как же, оставили… Конечно, так нагло преследовать его перестали, но стали зажимать церковную общину различными финансовыми ограничениями. «Церковная десятка» без разрешения райфинотдела не имела права купить десяток досок для ремонта. Да мало ли было поводов помотать нервы иерею.

Наши знаменитые гости

Помню, привезли в Ульяновск выставку прекрасного художника Стожарова, апробированную в Москве, на самом высшем уровне, но Сверкалов придрался и выкинул пару работ из экспозиции, и тем самым показал, что он обыкновенный партийный идиот, который имеет власть казнить и миловать. Ты — Стожаров, ты великий певец русского Севера, а я поставлен на то, чтобы бдить и не пущать. И я тебя, Стожарова, научу, как рисовать.

Растропович вспоминал, как его встретили на родине В. Ленина. Тогда он впал в явное диссидентство, и его пощипывали все, кому не лень. Так вот, вспоминает маэстро, мои афиши заклеили выставкой кролиководства, но мои афиши были больше, потому из-под кроликов выглядывали наши с Галиной фамилии.

После открытия Ленинского Мемориала решил отметиться в Ульяновске Е. Евтушенко. Наша окололитературная братва встретила его на ура, напечатала его стихи в комсомольской газетке, сидела за одним столом с мэтром поэзии в кабаке, словом, проявила идеологическую близорукость, за что редактор Г. Лёвин получил выволочку, с чем Евтушенко его на следующее утро поздравил.

Одно время с большой помпой приезжал в Ульяновск писатель Виль Липатов. Я даже один раз удостоился с ним поговорить по телефону. Все с утра из редакции направились в гостиницу к Липатову, а меня оставили за телефонного болвана. И вот зазвонил телефон.

— Слушаю?

— Это Липатов. А ты кто?..

— Это отдел животноводства.

— Но это газета, как это… «Комсомолец»?

— Да.

— А где редактор.

— Пошли тебя похмелять.

— А ты чего не идёшь?

— Дежурю.

— Слушай, старик! Волоки рукопись и сунь под дверь в номере…

Я бросил трубку, но Виль Липатов позвонил ещё раз и объяснил, куда сунуть рукопись.

Виля Липатова с большой помпой встречала наша милиция. Он, вроде, был референтом у министра внутренних дел. Его встречали с водкой, бараном, баней. Вскоре он умер и немудрено:

наши менты кого угодно до смерти заугощают. Иногда ещё показывают по телеку его Анискина в исполнении артиста Жарова. По произведению таёжные места, река Томь, а ни один комарик не куснёт мента, и вокруг опереточные поселяне и поселянки эпохи соцреализма.

Три случая из литинститутской жизни

Наш уважаемый Николай Благов по какому-то поводу приехал в Москву и где-то столкнулся со старыми знакомыми. Побывали они сначала в ресторане ЦДЛ, затем приехали на ночёвку в общагу. Меня ночью разбудил шум и женские вопли в коридоре. Выхожу и что я вижу: две поэтессы кавказской национальности вцепились в Николая как разъярённые фурии и противно визжат: «Милиция!..» Я бросаюсь на выручку мэтра волжской поэзии и ору: «Да он в уборную пошёл, а потом комнату перепутал!»

Так оно и было. Николай заснул у своих приятелей, а ночью решил сходить в туалет. Обратную дорогу к своей койке он забыл и впёрся в женскую комнату, которая была по какому-то случаю открыта, и там, не оглядевшись, сразу упал в кровать, на которой нежилась дагестанская гурия, которая взвыла от ужаса, что на неё налез такой медведь… Впрочем, дело обошлось лучшим образом: поэтессы меня знали и успокоились, а Николай с первым троллейбусом умчался на казанский вокзал.

…Следующую историю я поведаю об известном детском писателе Тимофее Максимовиче Белозёрове, которого знал довольно близко во время своего жития в Омске. Тимофей начинал как поэт взрослый, даже выпустил книжку, но или сам дошёл, или кто умный подсказал, вроде Якова Акима, но переквалифицировался Тимофей Белозёров в детского писателя, пишущего для отроков от восьми до двенадцати лет. Оказывается, и такое направление было в детской литературе.

Тимофей был отчаянным жмотом (надеюсь, это не повредит ему в тех местах, где судят за грехи). Так вот, жмотничал он по-мелкому, всегда имел дежурный рубль, который вынимал из кармана последним, когда на берегу Иртыша поэтическая компания собирала на несколько бутылок дешёвого вина. Один раз Тимофей промахнулся и вытащил вместо дежурного рубля четвертную, мгновенно замял её в кулак и зачастил: «Это на картошку! Это на картошку!..»

И вот Тимофей находит меня в Москве в общежитии и говорит, что ему надо переночевать. Я его не слушаю и сразу начинаю представлять однокурсникам как собрата по Литинституту и выдающегося поэта. Все стали шелестеть рублями, чтобы отметить встречу. Тимофей, естественно, что-то бормочет, что он без денег, наконец, рубли собраны, вино куплено, и мы сидим вокруг круглого стола, и я читаю Тимофеевы стихи:

«Жил у бабушки барашек,
белый-белый, точно снег.
На лугу среди ромашек
он вздыхал, как человек…»

Всем стихи нравятся, нравится и автор, свой брат, нищий поэт-бедолага.

Часов в двенадцать ночи идём ко мне в комнату. Я завариваю чай, а Тимофей старательно проверяет все запоры на двери.

— Я сегодня расчёт в издательстве получил.

— И много?

— Да так, тридцать тысяч.

Дорогой читатель! В 1973 году тридцать тысяч стояли три «Волги». Но меня волнует не это.

«Ах ты, барашек, — думаю я. — Ребята последние полтинники кидали на твою встречу, а ты сидел с тридцатью кусками и не подавился от нашего вина».

Между тем Тимофей покопался в чемоданчике и достал шоколадку и 100-граммовую бутылку коньяка.

Ну, тут я не выдержал и захохотал.

— Тима! — хрипел я, корчась от смеха. — Если бы ты был взрослым писателем, ты бы купил бутылку коньяка, но ты — детский, и обошёлся шкаликом!..

Я бросил ключи от комнаты на стол и ушёл к друзьям.

Утром кто-то постучал в дверь комнаты, где я спал.

— Я тебе денег в комнате оставил, — сказал он, возвращая мне ключ. — Приезжай на родину.

Я открыл свою комнату. На столе, придавленная выпитым Тимофеем шкаликом из-под коньяка, лежала трёхрублевая бумажка.

Об этом случае мне поведал Борис Примеров. Одно время, в 1970–1972, годах он часто заходил ко мне в комнату и очень горячо рассказывал о дневниках Смирновой — Россет, которые тогда читал. Борис только-только подошёл к пониманию русской революции как факту насилия, и мозги его пылали. Естественно, он с негодованием смотрел на всякую литературную шпану, которая обитала в коридорах литинститутского общежития.

Когда американцы высаживались на Луне, в 1969 году, общага Литинститута, по словам Примерова, разделилась на две неровные части. Одна, подавляющая часть, ратовала за то, чтобы телевизор был включён на программе, по которой передавали футбольный матч. Некоторые хотели смотреть высадку американцев на Луне, но им не дали — телевизор в красном

уголке был один.

— Я понимаю, — говорил Борис Примеров, — захотели бы футбол смотреть бетонщики, арматурщики, но писатели!.. Это уже маразм! Грандиозное событие в мировой истории: человек ступил на Луну, но писателям это неинтересно.

Нам нужны сатирики — Щедрины и Гоголи

С Алексеем Даниловичем Астафьевым я познакомился у бывшего фронтового лётчика, доцента кафедры биологии Ульяновского пединститута Виктора Шустова, куда меня привёл Николай Благов. Шустов жил на втором этаже двухэтажного дома, на том месте, где сейчас построено здание Центробанка. Тогда Астафьев переживал не лучшую пору своей жизни, он болел, подолгу лежал в больнице, и Шустов привечал его, чем мог, помогал. На его лице лежала печать усталости, которая не лечится сном, одежда была помятая, и сначала я подумал, что встретил ещё одного обескураженного навсегда сутолокой и подлостью человеческого бытия неудачника.

Благов с Шустовым затеяли разговор о будущей экспедиции, в которой намеревался участвовать и наш известный поэт, что он и сделал, и него появилась уйма стихов, скажем так, ботанического уклона, с поэтически ярким многоцветьем и разнотравьем флоры Среднего Поволжья. Как-то само собой беседа продолжилась уже на литературные темы. Астафьев молчал, сидел себе, нахохлившись, на стуле, даже вина не пил, слушал наш горячий разговор о поэзии, и вдруг разразился яростной филиппикой против какого-то авторитета, сейчас даже не помню какого. Но это и неважно: интересно было видеть другое: заговорив, Алексей Данилович, будто ожил, куда девалась усталая понурость, исчез сиротский вид, на щеках заиграл румянец бывалого полемиста, речь была грамматически правильной, он безошибочно говорил периодами, нанизывал одну мысль на другую, поливая всё это острым соусом язвительного сарказма. «Да ты вон какой! — помнится, подумал я. — Тебе, брат, палец в рот не клади…»

Астафьев был прирождённый полемист и сатирик. После окончания Воронежского госуниверситета работал в газетах. Он был талантливый журналист, манеру его письма можно охарактеризовать как блистательную, в ней были рассыпаны, как раскалённые угольки, болезненно колкие метафоры, сравнения, элементы гротеска, что дано только прирождённому сатирику. К тому же Алексей Данилович был непреклонным правдолюбцем, и терпеть не мог человеческую серость во всех видах.

И вот бульдожьей хваткой сатирика-грязекопателя он вцепился в маститого журналиста «Ульяновской правды», который не только темы статей «занимал» из соседних областных газет, но и передирал статьи целиком, меняя только фамилии, населённые пункты на свои, ульяновские. Сначала Астафьев

поговорил с этим журналистом, укорил, пристыдил, но тот не обеспокоился. И вот в журнале «Крокодил» появился фельетон по этому поводу. Конечно, парторганы не одобрили самовольной публикации, чем очень ободрили газетного вора. Астафьев не стерпел, и через какое-то время «Крокодил» опубликовал его фельетон «Хоть кол на голове теши!»

В обкоме партии справедливо решили, что кол будут тесать на их головах и обиделись на Астафьева. Что ж, такова незавидная участь сатириков! К слову, в это время родился анекдот, как раз к данному случаю. Суть его такова: на 19 съезде партии с докладом выступал Г. Маленков. Говоря о буйном развитии советской литературы, он посетовал, что мало ещё сатиры. «Нам нужны сатирики — Щедрины и Гоголи!» — горячо воскликнул Г. Маленков. «Нужны, очень нужны!» — поддержал его сидевший в президиуме съезда Лаврентий Берия.

Алексей Данилович был из тех идеалистов, верящих в торжество идеалов коммунизма, которых как раз и погубила эта безотчётная вера в справедливость, в то, что за эту справедливость нужно бороться, о чём всегда заявлял Никита Хрущёв, выдвинувший программу построения коммунизма к 1980 году. Но «свинцовые мерзости» социализма оказались неподъёмными для этих «карасей-идеалистов». И на судьбу Астафьева тяжело повлиял случай с Солженицыным.

Прочитав повесть «Один день Ивана Денисовича», Астафьев написал на неё обстоятельный отзыв и послал автору, предварительно опубликовав его в «Ульяновской правде». Как правило, Солженицын не отвечал на подобные послания, но работа Астафьева его «заинтересовала глубоким пониманием предмета повести, и постановке вопросов в ней и её традиции». Вскоре А. Солженицын был выслан за границу, заклеймён как враг. Для Астафьева настали трудные годы, из газеты его убрали, когда мы познакомились, он работал в «Ульяновсксельхозстрое», тщетно пытался защитить кандидатскую по философии, но его «пасли» и «душили». Защититься он смог в году 1980, увлёкся преподаванием и пользовался уважением студентов. Время от времени мы встречались, и я видел, что Алексей Данилович многое потерял из своей прежней задиристости, стал равнодушнее ко всему, что прежде его так волновало.

Помню нашу последнюю встречу в Димитровграде, куда Астафьев приехал читать лекции от общества «Знание». Он был в прекрасном настроении, шутил: «Жалко в мире заварушки никакой нет, вроде Фолклендов (война между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских островов. — *Н.П.)*. Говорить не о чем, про войну народ любит слушать».

Мы прогулялись возле гостиницы в Соцгороде, вспомнили знакомых, он интересовался, как мне работается, обещал приехать ко мне домой, послушать новые стихи. Эта встреча была последней, в 1982 году Алексей Данилович оставил этот бренный мир, который был явно несправедлив к нему, как и ко многим простодушным людям.

В гостях у Г еннадия Лёвина

Я встретился с Геннадием Лёвиным, когда пришёл устраиваться на работу в газету «Ульяновский Комсомолец» летом 1973 года. Не ошибусь, если скажу, что мы сразу по-доброму сошлись друг с другом, наверное, потому что Геннадий был литературно одарён: писал стихи, но особенно ему удавались небольшие очерки о природе, всегда обстоятельные, проникнутые чувством лиризма и сострадания ко всему живому.

Он был страстным охотником и едва начинался охотничий сезон, как наш редактор покидал газету, уезжал на Пичерки (охотничьи угодья Ульяновского автозавода) и по возвращению оттуда всегда светился от пережитого охотничьего счастья. Через несколько дней в газете появлялась зарисовка о природе, как всегда, написанная очень задушевно и блиставшая несомненными литературными достоинствами.

Однажды Геннадий пригласил меня в Сурское, познакомил со своей мамой, которая всю жизнь проработала педагогом и бесконечно любила сына, переживая, как складывается его городская жизнь. После обеда мы кололи дрова, а вечером пошли по гостям.

— Сейчас я познакомлю тебя с интересным человеком, — сказал Лёвин. — Здесь, в Сурском, есть небольшой заводик, где делают электроплитки. Он там директор. Но дело не в этом. Порынов в Сурском — величина!

Дом у Порынова был рубленый, двор застлан струганными плахами, во всём чувствовался требовательный к себе хозяин, умеющий не только стучать кулаком по трибуне, но и близко знакомый со всякой крестьянской работой. Он встретил нас на крыльце, приветливо поздоровался и пригласил в дом.

— Мне старший сын бутылку коньяка «Наполеон» прислал, так что есть чем угостить…

Расторопная хозяйка быстро накрыла на стол, мы испробовали французского коньяка, и завязалась беседа. Порынов говорил обо всём с редкой для русского человека откровенностью, бесстрашно называл вещи своими именами, а в то время это решительно не одобрялось, впрочем, как и сейчас, власть предержащими. Заканчивался 1973 год, начиналась эра «застоя» и Порынову, настоящему коммунисту, претили двуличие и ложь, которые победили добро и справедливость. Он всерьёз верил в идеалы коммунизма и негодовал, что их марают недостойные люди, которые гужом пёрли во власть. В его суждениях не было поспешности и пустословия, а присутствовал

трезвый и глубокий анализ.

От серьёзных разговоров нас отвлекла хозяйка. Узнав от Лёвина, что я поэт, она принесла толстую тетрадь со стихами. Я внутренне содрогнулся: страх не люблю выслушивать тягомотных графоманов. Но что это были за стихи!.. Одно сплошное признание в любви к своему мужу. Она их писала всю жизнь Стихи, конечно, были беспомощными, но так трогательны, так искренни, что у меня на глаза навернулись слёзы. В каждом стихотворении присутствовал рефрен: «Милый Ваня!» и святая чистота отношений между мужем и женой, что сейчас, к нашему несчастью, навсегда утрачено.

Порынов с первого дня Отечественной войны воевал на переднем крае. И здорово воевал, потому, что в 1941 году был награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени, а тогда награды давали очень скупо.

В начале 1942 года он вернулся из госпиталя домой без ноги, на деревяшке протеза.

Стал работать первым секретарём райкома комсомола, и его частенько посылали уполномоченным райкома партии в колхозы, чтобы обеспечивать поставки хлеба и другой сельхозпродукции для фронта и промышленных предприятий. Время было военное, и бывшему фронтовику иногда случалось обихаживать прогульщиков и выпивох своей палкой инвалида. Вполне мог отправить за лагерным сроком к прокурору, но предпочитал учить по-своему. Русский народ необъясним: прозвали Порынова «Иваном Палкиным», но возлюбили, и он стал, как выразился Лёвин, — величиной в Сурском. Но об этом мы за столом не говорили, уж очень щекотливая тема. Замечу лишь одно: наш народ превыше всего ценит в человеке справедливость, и Иван Порынов был в его понимании справедливым, хотя и мог врезать, но только за дело, и это получалось у него почти по-родственному.

Он, несомненно, повлиял на становление характера Геннадия Лёвина, воспитанного в безотцовщине, как и другой сурчанин Герой Советского Союза лётчик Фёдор Жигарин, работавший охотоведом района. Общение с этими неординарными и самодостаточными людьми развило в Геннадии такие довольно редкие в наше время черты характера и поведения как совесть и прямодушие. Но именно это и помешало ему сделать карьеру: в чести были криводушие, угодничество, откровенный подхалимаж и лицемерная преданность идеалам коммунизма.

Сейчас для верхних, правящих страной «десяти тысяч», идеологическая обслуга нашла высокомерное определение режима — «элита», что значит лучшие. При Советской власти

«лучшими» были те, кто составлял касту номенклатуры — высших партработников и управленцев, вершивших судьбы многих миллионов людей. Чтобы попасть в номенклатуру, мало было иметь определённое образование и безупречную биографию, надо было иметь «классовое чутьё», то есть уметь безошибочно определять, что в данный момент желает начальник. У Лёвина «классового чутья» не было, он был честным и прямодушным, а такие люди во все времена были не ко двору правящих особ. Геннадий Семёнович какое-то время лавировал, пытался приспособиться, но ничего у него не вышло.

Работая с ним бок о бок, я видел все его метания, попытки найти своё место в жизни, и мне было ему искренне жаль.

— Геннадий, — сказал я как-то ему. — Тебе уехать надо отсюда, на время. Поезжай в Магадан — город белых людей, там у меня друзья. Из Магадана в Москву проще попасть, чем из Ульяновска…

Он тяжело посмотрел на меня и выдохнул:

— В Магадан ехать только умирать!..

Тогда его мечтой было сменить редакторское кресло на должность руководителя одного из колхозов или совхозов. Для этого у него были все данные: высшее агрономическое и партийное образование, умение и, главное, желание работать с людьми. Но для обкома партии он так и не стал своим.

В начале декабря 1984 года на газетном щите возле «Автозапчасти» я увидел очерченную чёрным фотографию Геннадия Лёвина. Он умер в сорок шесть лет (1938–1984).

Ещё на одного честного человека стало меньше среди нас, пока живых…

К сожалению, на его похоронах я не был: в этот день уехал в Москву с рукописью.

Через несколько лет я побывал на его могиле. Он похоронен на Никольской Горе, откуда открывается просторный вид на столь любимые им Пичерские запески, о которых он пропел свою негромкую, но запоминающуюся песню.

Заяц Дюрера

Наш школьный физрук был демобилизованным по хрущёвскому сокращению офицером-фронтовиком, и на нас, подростков, смотрел как на солдат, которым можно приказать всё, и они выполнят. Он сразу построил класс и определил, кто, чем будет заниматься. Этот — бегать, этот — прыгать, этот — метать гранату… Мне предстояло стать стрелком, и в тот же день физрук Василий Макарович выдал мне мелкокалиберную винтовку, несколько пачек патронов, сам пристрелял «тозовку» в школьном дворе и приказал мне к весне стать «Ворошиловским стрелком».

Мне могут возразить, что такого быть не может, чтобы боевое оружие доверили пацану. Что это смертельно опасно, но в нашем посёлке нравы были простые и здоровые. Пока я шёл из школы, никто и не поинтересовался: откуда у меня винтовка? И вот я оборудовал на огороде стрельбище: огневой рубеж и через 25 метров мишень: толстую доску, выставленную у задней стены сломанного сарая. Сначала я стрелял каждый день и скоро из положения лёжа выбивал все десятки, потом научился неплохо стрелять стоя, потом… Мне это наскучило. Я повесил винтовку на стену и занялся чтением книг. И вот однажды мне попала книжка про охоту, и я ей буквально зачитался. А вскоре и сам захотел стать охотником.

У нас в посёлке настоящих охотников не было, но любители пострелять уток и зайчишек имелись. Один из них, дед Михаил, жил со мной по соседству и очень мне благоволил, так что я считал его близкой роднёй. Днём, после школы я стрелял в огороде по мишени, а он подошёл, посмотрел на мои занятия и заявил, что я занимаюсь пустым делом.

— Почему пустым, деда Миша? Я к соревнованиям готовлюсь.

— А потому, Николка, пустым, что пользы в твоей стрельбе нет. Пуля, она денег стоит. Вот если бы ты куропатку или зайчишку подбил, то в доме бы прибыток появился…

— А где его взять, зайца? Он же не бегает по огороду?

— Ничего, мы с тобой, погоди, отыщем его…

Лыж у меня не было, а в то время они и не продавались в сельмагах, пришлось делать самоделки. Дед Миша обстругал две планки, унёс в котельную на работу, там их распарил и согнул одну сторону. Ремешки прибили гвоздиками. Так у меня появились лыжи. Винтовка и патроны были. Оставалось найти зайца. Много километров избороздил я по окрестностям, но ни то что зайца — мышонка не встретил, а они явно копошились под

снегом, я даже слышал их шуршанье.

Дед Миша спрашивал меня об охотничьих успехах, но мне нечем было его обрадовать.

— Ничего, Николка, не горюй! Я скоро тебе зайца покажу. Всем зайцам — заяц! Полтыщи лет ему. Представляешь!..

Старик явно надо мной смеялся. Увидев моё огорчённое лицо, он сказал:

— Пошли ко мне домой. Моя старуха блинов настряпала.

В избёнке деда Миши я за обе щеки уплетал блины. Потом он вынул из сундука большой самодельный альбом. Оказалось, он был полон иллюстраций с картин почти всех лучших художников. Сделан альбом был с любовью, даже корки были отделаны красным плюшем.

— Я всю жизнь к рисованию тянулся, но где там при нашей нужде и потёмках. Вот, гляди! Эти первые картинки ещё из «Нивы», был такой журнал. А в основном из «Огонька». Конечно, не все. Портреты, парад. А вот и твой заяц!..

Да это был заяц, акварель Альбрехта Дюрера, нарисованная в 1502 году. Это ж если сегодняшнее время брать, то полтыщи лет ему исполнилось — а он как живой.

Комиссар от митинга

Впоследствии, когда сотрудники районной газеты, попытались реконструировать это, безусловно, уникальное даже для августа 1991 года событие, дабы сохранить его для назидания потомкам, у них ничего не получилось. Слишком уж неожиданно для всех это произошло, и страх был самым настоящим, поэтому вместо целостной картины запомнилось только то, что этот человек действительно был. В конце концов, все не от сквозняка разлетелись в разные стороны, когда он, громко топая сапогами, ворвался в редакторский кабинет и угрожающе ткнул пальцем в галстук тишайшего Ивана Кузьмича:

— Коммунист?

— Да… Я… Как вам сказать, — заметался в кресле редактор.

— Я твой райком на железные скобы законопатил! — заржал пришелец и припечатал к столу лист бумаги. — Вот, резолюция митинга!

— Какого митинга? — слабо вякнул Иван Кузьмич. — Я — номенклатура обкома партии.

— Нет никакого обкома! — победно протрубил пришелец. — Протри очки: теперь я редактор, назначенный народом! И чтобы без моего ведома ни одна букавка в газету не проскочила!

Он обошёл стол, стряхнул Ивана Кузьмича с кресла, уселся в него и заявил:

— Сидеть будешь в прихожке. А эту лярву крашенную, что там сидит, я увольняю без выходного пособия. Через полчаса собери весь личный состав здесь. Понял?

Иван Кузьмич судорожно сглотнул сухоту в горле, кивнул и, прихватив телефонный справочник, выпятился в приёмную. Ничего не объясняя секретарше, он выставил её за порог, а сам кинулся к телефону.

Ах, этот август девяносто первого года! И народ, и государство, и партийные люди — все словно обезумели от гласности, демократии и, главное, от вседозволенности. Телефон первого секретаря райкома молчал, в секторе печати обкома партии тоже было глухо, как в танке. Иван Кузьмич приуныл. Судя по тому, что по радио толкал речугу Ельцин, советская власть приказала долго жить… А ему ещё два года до пенсии. Что, если всё пойдёт прахом — и пенсия, и льготы за сорок лет беспорочной службы во славу ленинского политбюро и бюро райкома партии?..

Дверь кабинета распахнулась.

— Ну, ты чо? — воззрился на редактора комиссар от

митинга. — Я ждать не люблю.

— Сейчас! Сейчас! — загоношился и заголосил редактор. — Фёдор Петрович!.. Кускова!.. Алексей Леонтьевич!.. В кабинет!

Но никто не отзывался.

Иван Кузьмич запаниковал, кинулся по коридору. Все кабинеты были пусты. Только ветерок шевелил на столах незаконченные репортажи с полей, зарисовки о лучших людях, отчёты с мероприятий.

Недоумевая, куда все подевались, редактор вышел на крыльцо. Пыльная, заросшая лопухами и крапивой, улица была пуста. Иван Кузьмич почувствовал неприятную тяжесть под ложечкой, сел на крыльцо и достал таблетку.

«Вот и всё, — обречённо подумал он, — откукарекались! А ведь такая силища была. Куда всё подевалось? Все разбежались, как тараканы, по щелям».

Жарко припекало августовское солнце. Иван Кузьмич прислонился к перилам и закрыл глаза.

Чья-то крепкая рука взяла его за плечо.

— Кузьмич!.. Ты что — сомлел?

Перед редактором стоял Сырцов, местный хулиган, с которым Ивану Кузьмичу приходилось в своё время, когда он был первым секретарем райкома комсомола, изрядно повозиться, чтобы отучить от драчливости.

— Так вот видишь. В Москве чёрт те что… И здесь вот комиссар явился. Из кабинета выгнал. Все разбежались.

Сырцов захохотал:

— Комиссар! В Москве-то ясно. Там большие воры столкнулись. А здесь, у нас. Видел я этот митинг. Полтора десятка с увечными мозгами. Это какой такой комиссар?

— Ну, такой в фуражке, красноглазый.

— Этот? — Сырцов снова захохотал. — Да я его ещё по зоне знаю, козла! Пойдём!

— Нет! Нет! — протестующе взмахнул руками редактор. — Сейчас демократия. И вообще.

— Ну ладно! Раз демократия, так демократия!

Сырцов нырнул в дверь редакции, через минуту раздались треск, вопль, грохот. Дверь распахнулась, и с крыльца слетел комиссар от митинга. Сырцов приподнял его за шкирку, дал здоровенного пенделя, и комиссар, отлетев шагов на десять, растянулся на дороге во весь рост.

— Давай, руки в ноги и жми, чтобы я тебя здесь больше не видел. А ты, Иван Кузьмич, только свистни, я в момент ему демократию пропишу!

Раки

Четверть века назад я жил на берегу Свияги, напротив автомеханического техникума. Вода в реке в этой части города сильно загрязнена промышленными стоками, но в ней купались не только ребятня, но и взрослые, особенно, когда донимала летняя жара. И надо сказать, что вода в Свияге мягкая, легко очищается сама собой, что становится заметно на некотором удалении от города. Но даже и возле моего дома что-то в ней нарождалось, возрастало и ловилось. Во всяком случае, рыбаки зимой, по выходным густыми кучками сидели на льду, как мухи на куске сахара, и что-то ловили, добывали удовольствие, во всяком случае.

Я сам не рыбачил, но всегда немного завидовал этим деловым, старательным мужикам, которые загодя приготовляли снасти и наживку, а ранним утром, ещё в темноте, облачались в ватники, непромокаемые плащи, валенки с галошами и кучковались на льду, в основном напротив спиртзавода, где был выброс тёплой воды и пошевеливалась кое-какая рыбёшка. В незамерзающей зимой полынье, которая крепко попахивала брагой, даже зимовали несколько уток.

Свияга — река тихая, даже какая-то покорная, одним словом — ласковая река, но попала в руки неразумного хозяина, и замызгал он её, затыркал, как какой-нибудь пьянчужка ладную, но излишне терпеливую жену.

Один раз весной Свияга показала свой норов: вода поднялась выше берегов, залила огороды, кое-где затопила дома, а возле моего дома поднялась вровень с берегами, и старый мост под её напором покачивался и поскрипывал. По реке плыли редкие льдины, доски от разрушенных строений и всякий мусор. Свияга очищала свои берега, охорашивалась. Я стоял на мосту и с восхищением смотрел на преображённую половодьем реку. В ней ощущалась молодая сила и радость, которыми она спешила щедро поделиться со всем, что было вокруг.

И вдруг я увидел ондатру, которая плыла вдоль берега. Видимо, вода затопила нору, и ей пришлось спасаться. Зверьку, привыкшему к скрытному образу жизни, всяческой утайке, было страшно видеть белый свет, а тут сразу, как это водится, собралась свора хамов, малолеток, и они начали бросать в ондатру тяжёлые палки и камни. Они гоготали, свистели, сквернословили, и нам с соседом пришлось разгонять их буквально силой.

Так случилось, что в то лето мне подарили мешок только что

выловленных живых раков. Я принёс их домой. И жена, и дочки были просто вне себя от восторга. Но что с ними делать?.. Решили сварить. Жена поставила на плиту самую большую кастрюлю с водой, но в неё вошло всего с десяток раков. Остальные расползлись по кухне, залезли под диванчик, под стол, а один умудрился по шторе взобраться к самому потолку. Собрали мы раков и решили выпустить их в Свиягу.

На другой день я рассказал своему знакомому эту историю. Он был решительно убеждён, что раки непременно пропадут в грязной воде. И вот недели через две я вышел на берег и увидел пацана, который согнувшись, что-то ловил руками в воде.

— Чем ты занимаешься?.. — спросил я.

— Раков ловлю…

Он открыл свою сумку. В ней шевелились два рака. Мои ли это были раки или другие, я не знаю. Но какое-то время раки в Свияге ловились. Конечно, я не имею к этому отношения, видимо, вода тогда была почище, чем сейчас. С того времени грязи в Свияге прибавилось, и премного.

Конфискация бороды

Секретарь обкома партии по идеологии был богом, царём и воинским начальником областной культуры.

Художники и писатели были разделены, как впрочем, и сейчас, на «чистых» и «нечистых». Первых подкармливали, вторых, мягко говоря, душили. Это было нормой отношений. Правда, художники пользовались большим благоволением, чем писатели, потому что продукт их труда нельзя было спрятать в стол, перевести на микроплёнку, как, допустим, пасквиль какого-нибудь Солженицына, которого в это время вышвыривали из страны. Бедный Александр Исаевич не знал, сколько «идеологического сусла» было вылито по его поводу на головы симбирян. Из лиц, конкретно потерпевших во время этой кампании, я знал блистательного фельетониста — ныне покойного А. Астафьева, который затеял с писателем недавно обнародованную переписку. Астафьева выгнали с работы, всячески третировали, пока он наконец не нашёл себя в пединституте, где работал вместе с неким доцентом, опубликовавшим в «Ульяновской правде» разгромную статью по поводу «Августа четырнадцатого»… И вот один ушёл, другой жив и здравствует, недавно видел его у амбразуры кассы бухгалтерии в одной конторе. Так складываются судьбы.

Любой нормальный человек имеет нравственный тормоз, но бесконтрольная власть развращает. И секретарь обкома партии по идеологии Сверкалов был хамом в самом чистом, дистиллированном виде. Он, походя, мог так уесть человека, что тот забивался в страхе в какую-нибудь нору и не выглядывал оттуда до конца жизни.

Тишайший и безответный ответственный секретарь Ульяновской писательской организации В. Пырков отрастил бороду, не согласовав это с идеологическим вождём. Бедолага и не ведал, что натворил, пока не переступил порог руководящего кабинета. Он не пробыл там и минуты, вылетел оттуда потный от страха, а вслед ему грозно неслись слова:

— Не приму, пока не сбреешь бороду!

«Не приму» — это то же самое, что и щедринское «тащить и не пущать», только на другом историческом уровне, но наше родное, до боли знакомое…

Перед открытием художественной выставки всегда проходил отдельный закрытый просмотр работ художников. Сверкалов важно проходит мимо картин, скульптур. Вдруг останавливается.

— Это показывать нельзя. Убрать!

А эхо в пустом зале отражает истинный смысл этих слов: «Арестовать! Конфисковать!»

Просмотр подходит к концу.

Вдруг в зале появляется скульптор К. с бюстом Брежнева. Что поделать, слаба человеческая натура, хотел прогнуться перед власть предержащими, ночь не спал — лепил, отливал голову, потом тащил её в потёмках по городу на своём горбу, распугивая прохожих, а ему сразу «втычный» вопрос:

— Это что такое? Кто разрешил?

Скульптор что-то мямлит. Его не слушают и приказывают убираться вон вместе со своим «эпохальным» творением.

Унылый творец взваливает своё детище на спину и ныряет в городскую тьму.

Почти в это же самое время в областном театре идёт сдача спектакля на производственную тему. На обсуждении присутствует начальник областного Управления культуры. Предлагает высказаться. Но никто не хочет вступать на скользкую стезю. Нехорошее молчание пахнет взрывом. И он происходит.

— Почему рабочие в кедах? Кто режиссёр? — спрашивает начальник.

— Я… — отвечает пожилой солидный человек.

— Кто я? Встать!

…Председатель комитета по телевидению и радиовещанию стоит навытяжку в Мемориале, а его кроет семиэтажным секретарь обкома. Но это свои люди…

Карандаш

В 1975 году Ульяновск ещё жил эйфорией недавно отпразднованного 100-летнего юбилея В.И. Ленина. Появились Мемориал, новые гостиницы, вокзалы, улицы, но оставалось ещё много «незавершёнок». К их числу относилась и художественная роспись на стене вестибюля пединститута.

Так случилось, что я хорошо знал авторов этой росписи: двух московских и одного ульяновского художников. Заходил к ним, стоял на лесах, даже, помнится, кистью мазнул по сюртуку какого-то предтечи железной когорты революционеров. Надо сказать, что первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов (кличка Бабай) был натурой художественной не только в переносном, но и в прямом значении этого слова. Его, например, увлекали значки, и он сам сделал несколько эскизов. Даже в альбоме их изображения помещались, только вот фамилию автора закрасили чёрной типографской краской. На премьерах в драмтеатре Бабай бывал. Одних актёров журил, других хвалил.

Но самый значительный художественный жест по отношению к городу Бабай совершил, водрузив шпиль над Волгой. Начертил проектик на листе бумаги: здесь скульптурная группа, здесь шпиль, здесь мемориальные доски. На гонорар и авторство не претендовал.

Вернёмся же к художественной росписи в педагогическом институте. Назревало открытие, и редактор давно почившего «Ульяновского комсомольца» Гена Лёвин послал меня сделать репортаж в номер прямо с колёс ввиду неизбежного присутствия на торжестве самого главного лица области.

Я пришёл минут за пятнадцать до назначенного времени. В вестибюле уже царила суматоха. Устанавливали и опробовывали микрофоны. Сгоняли студентов из аудиторий. Я затаился за колонной, чтобы меня не толкали. Когда все мало-помалу угомонились, входные двери распахнулись настежь, и в вестибюль прошествовала «траурная» процессия. Члены бюро обкома во главе с Бабаем, облисполкомовцы, руководители наробраза и культуры — все как на подбор в чёрных костюмах, чёрных галстуках и белых нейлоновых рубашках. Как они приспособились переносить душную жару в этих униформах — ума не приложу! А ведь сидели на заседаниях в душных помещениях по много часов кряду. Но попробуй, явись кто из них на работу, например, в одной рубашке и белых штанах, не знаю, что было бы. Но никто и не пробовал…

Процессия направилась к тому месту, где я стоял, и вскоре я

был окружён со всех сторон этими людьми. Некоторые из них покосились на меня, но тут же отвернулись, не почувствовав ко мне никакого интереса. Бабай стоял строго в центре этого кружка избранных. Когда он пошевелился, начав искать что-то в кармане, от него предупредительно отшатнулись. Я смотрел на окружавших меня людей. Это были обыкновенные люди, от которых пахло терпким мужским потом и перегаром от вчерашней попойки, но всё равно что-то отделяло меня от них, между нами была «полоса отчуждения».

Бабай опять зашевелился, шевыряясь в карманах. Внимание окружающих было приковано к нему, хотя выступил уже ректор, художник. Готовилась к выступлению и нервно мяла бумажку в руках студентка.

Бабай повернулся к нам.

— У кого есть ручка? — нервно спросил он.

Все кинулись по карманам. Возникла напряжённая пауза — ручки ни у кого не оказалось. Лицо Бабая побагровело.

— Вот, у меня только это, — сказал я и протянул первому секретарю карандашный огрызок, которым записывал фамилии выступавших.

— Молодец! — сказал Бабай и начал что-то писать в блокноте.

Фитиль готовой взорваться бомбы был погашен. Все вокруг меня заулыбались. Трое или четверо, что были поближе, пожали мне руку.

На трибуне Бабай смотрелся. Он говорил, изредка заглядывая в блокнот. Студенты, изнывающие от жары, смотрели на него тусклыми глазами. За спиной Бабая величиной в сто с лишним квадратных метров красовалась тусклая роспись на ленинскую тему.

День был тоже тусклый, душный, предгрозовой. Я вышел из института на площадь, посмотрел на мефистофельский барельеф вождя на Мемориале. Тогда и всплыли в моей душе строки поэта Павла Васильева:

— Далеко до человека, люди…

Друг лауреата

У всех диктаторов есть одна общая черта характера: они неравнодушны к искусству. Мао, Брежнев, Сталин писали стихи в молодости. Иосиф Виссарионович живо интересовался театром, оперой, литературой, кино, особенно последним. На этот счёт существует «милый» анекдот, который, возможно, не так уж далёк от правды. Словом, Сталин просматривал все выходящие на экраны фильмы, а тут, когда он был в отпуске, некий фильм пустили в прокат без его одобрения. Приезжает он и вызывает к себе всю съёмочную группу.

— Вы кто? — спрашивает он режиссёра.

Тот представляется.

— Как ви считаете, — пыхнул трубкой вождь, — разве это правильно, что весь советский народ смотрит этот фильм, а вождь советского народа его не видел?..

Режиссёр замертво валится с ног. Тот же вопрос — друг за другом гибнут от страха сценарист, оператор и т. д. Остаётся один осветитель. Следует вопрос и ему.

— А мы посоветовались с политбюро, — без заминки отвечает осветитель.

— И правильно сделали, — говорит вождь и подытоживает. — Какие всё-таки интеллигенты нервные люди!

Однако вернёмся к временам более близким и реальным. Известно, что Сталин за свои литературные труды премий не получал, а вот Брежнев ударился во все тяжкие: умудрился получить Ленинскую премию в области литературы. От этого беспрецедентного шага все в стране опешили, но ненадолго. Зашумели, зааплодировали, кинулись изучать, цитировать, прославлять, хотя каждому было ясно, что вся эта «генсековская» литература — чистейшей воды надувательство. Но то ли ещё бывало на Руси!

На родине В.И. Ленина «Малую землю», «Целину», «Возрождение» изучали особенно старательно и в школах, и в вузах, и в системе политучёбы. Откуда-то стали появляться сослуживцы Леонида Ильича по 18-й армии. Они шли нарасхват, ими украшали президиумы высоких собраний. Они повествовали о начальнике политотдела армии полковнике Брежневе и том, как под огнём фашистов он вручал им партбилеты.

Вполне понятно, что против подобных восхвалений никто не протестовал, тем более удивительным и по тем временам смелым оказался поступок одного моего знакомого художника, поступок, который заставил меня хохотать до колик в животе.

Жора (так назовём художника) купил «Малую землю», пришёл в свою мастерскую, лёг на продавленный диван, прочитал книгу от корки до корки и задумался. «Конечно, книга не ахти, — размышлял он, — но что-то в ней есть. Только вот что?» И тут его озарило. Жора был весьма квалифицированным графиком и, не откладывая дела в долгий ящик, изобразил под портретом генсека в книге следующую надпись, искусно подделав почерк автора:

На долгую память дорогому Жоре!

Всегда твой Л.Брежнев.

Жора засунул книжку в карман потрёпанного пальто и двинулся по городу от одной пивной точки к другой. Знакомых у него было много, и каждому он демонстрировал книгу, уверяя, что генсек прислал ему лично дарственный экземпляр. Кто верил, кто смеялся, кто зябко ёжился. Но Жоре всё было до лампочки. В Худфонде, куда он, в конце концов, добрёл, на глаза ему попалось объявление, в котором все желающие приглашались записаться в турпоездку в Грецию, и тут же записался. Акрополь, Дельфы, Парфенон — это как раз то, что нужно для творческого роста, решил художник.

Но до Афин Жора не добрался. Его пригласили в компетентные органы, поговорили с ним, погрозили пальчиком: не шали! Только и всего. Конечно, в Греции, как сказал классик, всё есть, но и Ульяновск тоже нехилый городок.

Сейф

Век атома, век электричества — как только не называли минувшее столетие! Но вернее всего назвать его веком казённой бумаги, веком анкет, персональных дел, обвинительных приговоров и прочих исходящих и входящих инструкций. Не стальные наручники, а бумаги сковали каждого из нас по рукам и ногам, спеленали, как мумию, душу. И мы, конечно, по части казённых бумаг — бесспорные рекордсмены. «Бумага всё стерпит», «слово к делу не пришьёшь», «без бумажки ты букашка» — не перечислить всех метких народных выражений, вполне объясняющих их необъятную власть над каждым человеком.

Казённые бумаги обладают колоссальной взрывной силой, и поэтому их хранят в стальных ящиках и толстенных сейфах, перевозят под крепкой охраной, учитывают в опечатанных книгах, как оружие.

Стальной ящик стоял и в кабинете нашего редактора. Я не обращал на него внимания, пока однажды Лёвин, ругнувшись, не сказал:

— Прислали «телегу» из обкома. Бумаги надо сдавать…

— Какие? — спросил я.

— Да всякую муру фельдъегеря натаскали…

Действительно, в коридоре редакции и тогда мелькал капитан с кожаным портфелем.

Мы сидели «за чаем». Помнится, был Игорь Хрусталёв, ещё человека два — три.

Редактор подошёл к столу, открыл ящик и, присев на корточки, достал несколько картонных папок, обхлопал с них пыль и улыбнулся:

— Я тут, мужики, такую компру нарыл, обалдеть можно…

— Да ну! Тащи сюда! — обрадованно зашумели мы.

Редактор сел за стол и открыл первую папку. Это были протоколы партийных собраний редакции за пятидесятые годы. Пожелтевшая сухая бумага хранила события, отделённые от нас десятками лет.

Геннадий глуховатым голосом читал косноязычные протокольные фразы, словно вспахивал заросшую травой забвения целину, и перед нами представали не очень славные дела наших предшественников, занимающих ныне значительные должностные посты. Один из них руководил областным сельским хозяйством, другой — средствами массовой информации, третий выбился в идеологи. Это были важные сановные люди, смело поучающие нас, но протоколы раздевали их донага, сдирали

шелуху административной важности с упитанных лиц, приравнивали ко всем смертным.

— Вот тут про Сашку Миронова! — гудел редактор. — Прогулял два дня. В объяснительной пишет: «На автовокзале встретил односельчанина. Тот сказал, что у матери заболела корова. Поехал лечить, чем и объясняю своё вынужденное отсутствие на работе». Строгий выговор без занесения в учётную карточку…

Я знал этого человека. Это был, наверное, самый крикливый руководитель в области. Я сам как-то слышал его «распекаловку» в Барышском райкоме партии. Впрочем, ничего нового в этом нет. У Ф.М. Достоевского есть такая сцена: фельдъегерь влетает к станционному смотрителю и сразу даёт ему затрещину. Срочно подкатывает тройка. Фельдъегерь прыгает в неё и начинает дубасить ямщика по загривку, ямщик хлещет кнутом лошадей, и всё это мчится в мутное метельное пространство. Тройка-птица! Бедный Гоголь… И сейчас так же: один дубасит другого, потому и жизнь как-то идёт…

— А вот про Михал Ивановича! — смачно произнёс редактор, раскрывая дело своего шефа. — Тут, братцы, история посерьёзнее…

Да, был такой аппаратчик, зав. сектором печати обкома партии Михаил Никитин. Брюзгливо напыщенный, всегда застёгнутый на все пуговицы. Не человек, а ходячий бред. И мне стало интересно, что это он накуролесил в молодые годы.

Дело и впрямь было пренеприятное. Имея девять классов образования, он ухитрился получить каким-то образом диплом Ереванского университета. Эк, махнул!.. С вологодского севера на крайний юг, аж в Армению! Но, судя по протоколу собрания, всё сошло ему с рук. Опять строгач…

Помню, смеялся я над всеми этими бумагами, но радости в этом смехе было мало. Этот смех убивал не их, а меня самого. Я просто физически ощутил нависшую надо мной непробиваемую толщу тьмы и, не дожидаясь конца веселья, ушёл домой — к стихам.

Через несколько дней я захотел прочитать протоколы собрания. Редактор сухо сказал, что их забрали в обком партии. Кто-то уже «стукнул».

Бутылка «сухого»

Осенью 1987 года, в разгар борьбы с винопитием, я приехал из отпуска и уже на следующий день пошёл навестить своего приятеля скульптора Васю Шеломова. Он был в мастерской, сумрачном сыром подвале, где громоздились скульптуры, глина, обрезки дерева, арматура. Сам Вася сидел на крылечке и, словно кот, жмурился на солнце. Одет он был своеобразно: стоптанные туфли, офицерские галифе и куртка, подаренные ему уволившимся из армии полковником. Рыжая борода, подстриженная под круглый навесной замок, приветливо сморщилась, когда он увидел меня.

— Ну как там, на югах?

— Жарко, Вася, жарко…

— Пойдём в мастерскую, там охолонешь.

Мы спустились в подвал. Я огляделся, заметил новую работу и подошёл к ней.

— Да ты не туда смотри, а сюда, — ворчливо сказал Вася.

Я оглянулся. На пеньке, который стоял возле продавленного дивана, высилась бутылка «Ркацители».

Мы испили по стакану сухого вина. Я закурил и стал рассказывать о Гаграх, где целый месяц бултыхался в море вместе с семьёй.

Вдруг Вася поднял голову и посмотрел на открытую дверь. По лестнице спускался какой-то мужчина, который, коротко поздоровавшись, решительно прошёл в мастерскую и стал разглядывать скульптуры.

— А-а, Горький… — сказал он, узнав по усам великого пролетарского сочинителя.

Вася ходил за ним следом и что-то силился сказать, но слова не шли, где-то у него в горле застревали сухим комком. Обойдя по кругу мастерскую, гость развернулся в мою сторону, и его лицо исказила гримаса негодования и брезгливости.

— Это что? — трагически произнёс он и указал на полупустую бутылку.

— Что это за идиот? — спросил я Васю. Но тот лишь разводил руками и что-то булькал полураскрытым ртом.

Незваный гость взбежал по лестнице и растаял в проёме двери.

— Это же Романов, — наконец вымолвил Вася, — первый секретарь горкома партии…

— Ну, у тебя и друзья, — нервно хохотнул я. — Ты неразборчив в знакомствах…

Я налил себе стакан вина, выпил и пошёл домой.

Между тем события начинали приобретать размах и обороты. Романов доставил своё номенклатурное тело в горкомовский кабинет и принялся названивать в райотдел милиции. Срочно была сформирована группа захвата в количестве пяти человек во главе с зам. начальника РОВД. Бегом (от милиции до мастерской метров двести) они прибыли на место преступления. Не дав скульптору переодеться, в заляпанных глиной галифе, его поволокли в ментовку. Изобразили протокол, чем-то там грозили, но, понимая, что всё это чушь собачья, отпустили с наказом больше не пить, ни сухого, ни мокрого.

Но дело на этом не закончилось. В голову Романова запала широкая и многообещающая мысль: раздуть это «ркацетельное» дело до всегородского масштаба. В Союз художников был направлен второй секретарь горкома партии Сергей Марьин (впоследствии банкир) с установкой провести собрание и исключить бедного Васю из Союза художников.

И собрание состоялось, но какое-то унылое, вялое. Вопрос об исключении поставили на голосование. И ни одного голоса «за», потому что уже шёл к концу 1987 год.

Наш ульяновский Бунин

До моего появления в Ульяновске единственным литератором, закончившим поэтическое отделение Литинститута, был Александр Бунин. На родину Ленина он попал по вузовскому направлению, работал в «Ульяновском комсомольце», «Ульяновской правде». Когда я с ним познакомился, он уже болел, но не утратил ни живости характера, ни остроты ума, ни юмора.

Однажды его пригласили выступить на телевидении. Я работал редактором, и после передачи мы зашли к Константину Воронцову, зампреду ТВ. И мне запомнилась фраза, оброненная поэтом: «Недавно одна молодая поэтесса вызвалась проводить меня домой. По ровному месту шёл вприпрыжку, трепался, как молодой. А стали подниматься по лестнице, у меня сердечко затрепыхалось, пришлось два раза останавливаться. Зашли в квартиру, я сразу начал пить лекарство. Девушка с таким сожалением на меня посмотрела и ушла».

Из дневника. 25 февраля 1982 года.

«Вчера был на похоронах Александра Бунина, собрата по поэтическому цеху. Об его стихах мне сказать нечего. В последние годы жизни Александр был занят «Надеждой», литературным объединением. Из него уже вышли поэты «бунинской школы» — Соколов, Матлина, Минаров и прочие.

День выдался промозглый с ветерком. Похороны без оркестра — такова воля покойного. Зашёл в полутёмную, пахнущую тленом комнату. Бросилось в глаза, что подошвы туфель на ногах покойного протёрты до дыр. Крышка гроба оказалась коротковатой, забили в натяг. Вынос тела из пятиэтажки, потом на скорости сквозь город, на Ишеевское кладбище. Комья смёрзшейся красной глины возле могилы, мужичонка, кладбищенский бомж, суетливо крестящийся в расчёте на водку, с мокрым носом, в руке обрывок шерстяного одеяла. Гражданская панихида: жалкие бесплотные слова, пьяный Валентин Малинин, чья рожа и сюсюканье над гробом вносили гротескно-комический диссонанс в неколебимое торжество смерти. Благов объявляет, что пришла телеграмма о приёме Бунина в Союз писателей. К счастью, Бунин не узнает об этой посмертной издёвке над ним. Гроб торопливо забрасывают глиной. В предвесеннем небе хороводятся с противными криками растрёпанные ветром вороны…»

Литературное объединение «Надежда», созданное А. Буниным, просуществовало почти до 2000 года. Им руководили члены Союза писателей — Е. Мельников, В. Дворянсков, Ю. Соколов. Многие десятки молодых людей благодаря литобъединению стали вдумчивыми и квалифицированными читателями поэзии. И Александр Бунин остался навсегда в их памяти строгим и доброжелательным учителем русской словесности.

Недавно мне в руки попался номер газеты «Ульяновский комсомолец» за 1975 год, и в нём было опубликовано стихотворение Александра Бунина. Особенно меня тронула концовка осенней миниатюры. В ней сказано многое, о чём человек должен помнить всегда:

— Вдруг приблизится всё и нахлынет:
И горе, и радость, разлуки и встречи,
Дорожная пыль
И Отечества дым…
И память на крыльях
Примчится сквозь вечность
В страну,
Что в наследство
Досталась теперь молодым…

Два мешка муки от генерала

За несколько дней до моего увольнения из газеты в 1976 году, деликатнейший Геннадий Дёмин, редактор «Ульяновского комсомольца» спросил моё мнение о Юрии Соколове, который метил в отдел пропаганды на освобождающуюся должность литработника.

— Кто это такой? — пожал плечами я. — Стихи так себе. Где он сейчас работает?

— На автозаводе, — выжидательно глянул на меня редактор.

— Значит, рабочий, значит, есть жизненный опыт. Конечно, бери. Хватит беглых учителей привечать, пусть едут отрабатывать в деревню.

Так получилось, что за расчётом я пришёл через два дня, и по пути к редактору заглянул в свой бывший кабинет. За столом сидел Соколов, а по полу валялись выброшенные из стола мои записные книжки, газеты с публикациями…

Я вопросительно глянул на Соколова, тот в ответ, набычившись, уставился на меня. Я промолчал, собрал нужные мне вещи с пола и удалился.

— Надо же! — воскликнул Дёмин. — Это нехорошо, да, очень нехорошо он поступил. Но ты же его рекомендовал: рабочий и всё такое…

Соколов учился заочно в Литинституте, окончил его, но книжку своих стихов сумел издать уже в самом конце 1980-х годов в Приволжском книжном издательстве довольно странным способом. Довёл редакторов до точки своими жалобами в Союз писателей СССР, в обком партии и ЦК КПСС. Вот такая у него получилась тропа в литературу, через скандалы, угрозы и ругань.

Где-то в начале 1990-х его приняли в Союз писателей, но ему было не до писательства: учредил с кем-то кооператив и какое-то время пытался разбогатеть, но не преуспел на предпринимательском поприще и вернулся к письменному столу. Кажется, в 1996 году Соколов прорвался на никому не нужный пост председателя областного Союза писателей России, но пробыл на нём месяца два.

Губернатор Ю. Горячев пообещал профинансировать писателей на 18 миллионов рублей (сегодня это 18 тысяч рублей). Соколов от этого посула страшно возбудился и, собрав писателей, заявил:

— Эти деньги мои. Найду ещё и прикуплю себе комнату.

Писательский люд взбунтовался. Света Матлина встала во главе сопротивления, собрали собрание, и она была избрана

председателем, не подозревая, что ей предстояли суды и пересуды с Соколовым на протяжении нескольких лет. Эти дрязги уронили писателей во мнении власть предержащих ниже плинтуса.

Я видел Юрия Соколова в суде, куда был вызван по его требованию по совершенно лживому поводу. Было противно смотреть, как якобы поэт опустился от сутяжничества: истеричные нотки в голосе, пустой взгляд, обрюзгший вид.

Как от него отделались судьи, не знаю, но он был нагл и с большим начальством: к губернатору Шаманову, например, он обращался запанибрата с просьбой:

— Генерал! Ты знаешь, что писатели бедствуют. Прикажи своим клеркам, чтобы они привезли мне домой к Новому году два мешка муки!

И что?.. Грозный успокоитель Чечни выполнил просьбу лирического охламона и не обиделся.

В начале двухтысячных мне позвонил писатель Виктор Сергеев.

— Ты, наверно, не знаешь, что Юра Соколов умер. Нехорошо умер.

— Почему нехорошо?

— У чужих людей умер, вот беда…

Овраг

Где-то в начале восьмидесятых годов один мой приятель, форматор скульптурного цеха, попросил помочь сделать постамент для бюста К.А. Тимирязеву (работа скульптора Р.А.Айрапетяна) перед зданием конторы опытной сельскохозяйственной станции. Это предложение меня заинтересовало: стихи не шли, в душе была какая-то пустота, и хотелось хотя бы на несколько дней сменить обстановку.

Надо сказать, что возведение постамента — довольно сложная строительная работа, в которой я, естественно, ничего не смыслил и поэтому исполнял обязанности подсобного рабочего: копал яму под фундамент, замешивал цементный раствор, подносил кирпичи… Погода стояла прекрасная, и мы особенно не напрягались, подолгу отдыхали под берёзами и разговаривали. Иногда к нам подходили любопытные, интересовались, что мы такое тут надумали строить. Мы отшучивались:

— Памятник Немцову!

— Ты гляди! — понятливо восклицали любопытствующие граждане и отваливали прочь, разнося по посёлку эту причудливую «новость», ведь Немцов был директором.

На опытной сельскохозяйственной станции, как и во всяком солидном учреждении, был свой художник. С ним мы познакомились поближе, чему способствовали его открытость и разговорчивость. К тому же у нас нашлись общие знакомые.

И вот как-то сидим мы под берёзой, а к конторе подъехала «Волга», и из неё вышел какой-то человек.

— Горячев приехал, — вполголоса сказал художник и почему-то вздохнул. Юрия Фроловича я знал по его работе ещё первым секретарём обкома комсомола, раз даже столкнулся с ним близко в одном деле, но это уже другая история, о которой я как-нибудь расскажу.

— Я тут недавно влетел, — сказал художник.

— Куда влетел?

— Как куда? Самым натуральным образом влетел, в Горячева. Дело было ещё по первой зелёной травке. Как-то просыпаюсь с бодуна, а жена тормошит — поезжай к сестре, привези флягу. Я выпил украдкой стакан бражки, сел на «Ижа» и поехал. А тут у нас овраги. Дорога узкая, просёлок… Правда, сухо было. Скорость я держал приличную: утро, выходной, никого нет. Ну и, не оглядевшись, на скорости маханул вниз, в овраг. А мне навстречу «Волга». Горячев с утренней дойки ехал, что ли… Вот и сошлись лоб в лоб. Правда, не шибко… Фролович вышел из машины,

поглядел на мою похмельную рожу и сказал, чтобы завтра я был у него, как штык. Отпарился, отмылся, прихожу утром в райком партии, естественно, с партбилетом. Доложился секретарше. Сел на стул, жду. Так весь день и просидел. А там одно совещание, второе, третье… К вечеру вышел Фролович из кабинета и говорит: «Ну, ты всё понял?». «Понял», — говорю. — «Иди, работай…»

— А ты ведь мог здорово погореть на этом деле, — сказал форматор.

— Ещё как! Прав на вождение точно бы лишился, по партийной линии не меньше строгача бы схлопотал, с работы могли турнуть. Я ведь выпимши был…

— Он, в принципе, не мог по-другому поступить, — сказал я, — не в его это характере…

Памятник открывали без меня. Недавно его фотография встретилась мне в книге об ульяновских художниках. Вспомнилось лето начала восьмидесятых, прежние разговоры, мечты, надежды…

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗИКИ И ЗАРИСОВКИ

Заволжское чудовище

Одним из самых интересных мест Ульяновска, на мой взгляд, является Нижняя Терраса, хотя она как место жительства не котируется среди горожан. А зря. Говорят, что каждый кулик своё болото хвалит. Похвалим и нашу Нижнюю Террасу. И в самом деле, рядом на коренном волжском берегу лес, где в иные годы полно грибов, и до Волги рукой подать. А это рыбалка, а также купание. Мало кто может похвалиться, что живёт ниже уровня воды. Только мы и голландцы. И тюльпаны у нас растут, и много чего ещё.

Нижняя Терраса возникла как посёлок патронного завода, то есть давно, и деревья здесь в зрелом возрасте. Весной в зарослях выщелкивают любовные трели соловьи, бывает — и чайка залетит с Волги. Это единственный микрорайон города, где практически нет комаров, поэтому летом все спят с открытыми окнами, а не гоняются всю ночь за «маленьким да удаленьким».

Но это ещё не всё. На Нижней Террасе водятся чудовища, которые в состоянии одним только своим видом разогнать ораву подпитых мужиков. Я был свидетелем такого происшествия, которое случилось в саду возле поликлиники.

Надо сказать, в этом саду, когда-то ухоженном, а сейчас заброшенном, бесхозном, частенько проводят свои заседания местные поклонники зелёного змия. Пышная растительность сада стала общим достоянием тех, кто после работы, а то и среди белого дня, чувствует потребность посидеть на травке под вишней, яблоней или рябиной, словом, отдохнуть под приятный звон стаканов.

И вот как-то раз иду я мимо этого сада, а оттуда, толкая друг друга в проломе ограды, выбегают пять мужиков, чем-то смущённых и даже испуганных.

«Свят! Свят!.. — подумал я. — Неужто и до них милиция добралась?..»

Нет, людей в форме и с дубинками не видать, значит, что-то другое напугало их. А разговор слышу:

— Гадюка это! Я знаю, что говорю!..

— Да хрен его знает, что за тварь!.. Сейчас прут из заграницы всякую дрянь. Может, из дома убежала!..

— А что!.. В газете писали, у одного крокодил через унитаз из дома ушёл.

Помолчали, а потом один мужик так это обречённо говорит:

— Я не знаю, что там за зверь, но два пузыря и закусь мы там оставили…

Все повернули головы к яблоне, под которой топорщились газетные свёртки, и поблескивало стекло початой бутылки.

— Нет! — решился самый смелый. — Я водку так не брошу!..

И шагнул в пролом забора. За ним осторожно двинулись другие.

— И ты, сосед, давай с нами, — позвали меня. — Будешь свидетелем!..

Под яблоней было пусто — ни змей, ни крокодилов. Мужики по-быстрому разбанковали бутылку, закусили и, осмелев, сели на траву.

— Так что это было?.. — поинтересовался я.

— Наверно, гадюка. — ответил сидевший на пеньке мужик. — Да вот же она, под сучки спряталась!..

Теперь, после оприходованного стакана, мужики осмелели и тихонько окружили напугавшего их зверя. Это был небольшой уж, вернее, ужонок.

Я, было, подумал, что мужики его сейчас со злости растопчут, но они даже обрадовались ему и тому, что в их саду живёт вот такое создание. А ужонок, вспугнутый шумом, скользнул под листья и исчез из виду.

Кот Михаил

Я не против любых животных в доме, но ведь чаще бывает так, что детвора притащит с улицы замызганного котёнка, а родителям приходится ухаживать за ним. Точно таким образом у нас появился Мишка, котёнок, кажется английской породы, выросший в огромного кота. К счастью для нас, свою нужду он справлял на улице. Подойдёт к двери и начинает её бодать. Это означает: выпускай! Таким же манером давал знать о своём приходе. Я сижу в кресле, смотрю телевизор, а он на меня смотрит, как на изверга: что, мол, расселся, уступай место!.. Приходится вставать и уходить.

Первую проблему он подбросил нам, когда ему было месяцев девять. Мои дочки завернули Мишу в платок и вынесли на улицу, чтобы он погулял по молодой зелёной травке. Кот понюхал свежую травку, почувствовал призывные запахи из подвала и немедленно туда шмыгнул. Явился домой через три дня, отощавший, грязный, на левой лапе все когти вырваны.

Жена срочно вызвала такси, положила кота в сумку и повезла в ветлечебницу. Резюме доктора: Миша неумело во время объятий держал кошечку или такая стерва попалась, что в экстазе изуродовала нашего кота. Мы, конечно, всей семьей переживали, волновались и слабо надеялись, что у кота отрастут когти. И они отрасли дней за десять.

С этих пор подвал стал его любимым местом. Заглянул я как-то туда. Лежат коты на трубах в самых вальяжных позах амфитеатром: кто сверху, кто внизу, ну, чисто депутаты Госдумы. И общаются между собой взглядами, подёргиванием ушей, движениями хвоста. Сантехник ударил разводным ключом по батарее, и коты прыснули во все стороны. Кошачье племя ненавидит сантехников и обходит их стороной при встрече, как собак.

Мои дочки тетешкали Мишу, но забывали кормить. В этом вопросе он сел на меня прочно и основательно. По утрам начинает тормошить, идёт к холодильнику и ну его бодать! В холодильнике мёрзлое мясо. Миша это знает и ждёт, пока я не нащепаю ему ледяной говядины топориком. Всё, с этого момента я ему не нужен. Нажрётся мяса — на выход, до обеда.

В таком режиме Миша прожил до наших отпусков. Мы всей семьёй уехали на полтора месяца, сначала в Сибирь, потом на Чёрное море. Соседке оставили ключ от квартиры, чтобы она присматривала и кормила кота.

Первый же пацан, которого я встретил в подъезде после

приезда из отпуска, рассказал мне, что наш Миша охотится на голубей. И буквально через день я увидел, как он это делает. Утром я выглянул в окно и увидел, что Миша лежит в траве, как неживой. Глаза закрыты, хвост откинут в сторону. Ну, труп и труп. А голуби воркуют, что-то поклёвывают и кругами вокруг моего кота ходят, понемногу приближаясь к смертельно опасному для себя месту. Наконец один голубь буквально клюнул Мишу в хвост. А тот лежит себе, не шелохнётся. Голуби залопотали и гуртом подвалили к коту. И тут он буквально взорвался прыжком в самую гущу птиц. Стая ещё не успела встать на крыло, а Миша уже ошкуривал добычу. Самое поразительное было то, что он умял голубя целиком, вместе с перьями и когтями. Потом Миша повалялся на мягкой гусиной травке, встал и, покачиваясь, пошёл в подъезд.

— Бум! Бум!.. — раздались мощные удары в дверь. Я её открыл и посмотрел коту в глаза. В них — темь. Пришёл в свою берлогу не любитель молочка, а зверь с охоты. От кресла он меня оттолкнул, запрыгнул на него, поспал немного и ушёл из дома. Радикально решив проблему питания, Миша стал редко бывать дома. Последний раз его видели в школьной столовой рядом с поварихой, сытого и довольного.

Коза-дереза

Ко мне пришла соседка со своей горестью: пропали две козы, которых она завела взамен украденных прошлой зимой. Тогда из шести штук один только козлёнок спасся, забился в солому, а остальным бандиты головы отрезали и уволокли через окошко сарая. Джек, здоровенный кобель-овчарка, дрыхнул в это время возле печки в избе. Стоял крутой мороз, и хозяева пожалели пса, между прочим, опасного хама и лентяя.

Словом, проворонили коз, но к весне собрались с деньгами и купили двух симпатичных козочек. Паслись они на пустыре возле дома, где в изобилии рос бурьян и кустарник. И вот козы пропали.

Света — хозяйка чуть не плачет — жалко ей своего труда и скотину. Сидим, разговариваем. Возле нас трётся кошка Дуська, орёт и принимает всякие интересные для котов позы. Света смотрела, смотрела на Дуську и вдруг засобиралась уходить. Я бормочу какие-то слова сочувствия её горю, а Света не слушает — бегом из квартиры.

Через час слышу, кто-то зовёт меня с улицы. Вышел на балкон. Ба!.. Света стоит со своими козами.

— Я на вашу Дуську посмотрела и всё поняла. Мы их позавчера к козлу на Карасёвку водили. Вот они туда и удрали…

— Наверное, понравился им козёл!.. — рассмеялся я.

— Да ничего, обходительный козлик. — улыбнулась хозяйка.

Припоминается ещё один, связанный с козами случай. В одном селе днём вдруг зазвонил церковный колокол. Сбежался народ к церкви, смотрят: колокол качается, а никого не видать. Пошли двое мужиков на колокольню, а там коза. Забралась по почти вертикальной лестнице, начала грызть верёвку и ударила в набат.

Молодые козлята бесподобно красивы. Лет тридцать пять назад моей жене подарили такого рогатого красавчика. Она обрадовалась и решила, что он будет жить в нашей однокомнатной квартире. Спасла меня от вторжения в дом козы покупка дефицитных тогда немецких стульев. Подарок оказался с железными зубами. Козлик начал пробовать стулья на вкус, и его пришлось отправить в деревню.

Петушок с ноготок

Как-то зимой я приехал в Саратов по своим издательским делам. Остановился у своего знакомого, писателя Ивана Шульпина. Жил он в большом доме с видом на Волгу.

Утром Иван заходит ко мне в комнату и говорит:

— Пойдём, я тебе своё хозяйство покажу!..

Вышли в зал, повёл он меня к балконному окну. Балкон пустой, только в углу стоит утеплённая будка, вроде собачьей. Иван взялся за шнурок и говорит:

— Вот я сейчас дёрну, кто выскочит?..

Я почесал затылок. Откуда мне было знать, что он хранит в этом ящике. Но что-то сказать было надо.

— Лайка! — выдохнул я. — Сибирская ездовая лайка!..

Иван рассмеялся и дёрнул шнурок на себя. Дверца распахнулась, но оттуда не послышалось рычание, не выскочила псина. Мы ждали. Потом в будке послышалась отчаянная возня, и на балкон кувырком вылетела малюхонькая курочка. Через мгновенье — другая. Прошло ещё какое-то время, и через порожек будки перешагнул маленький петушок, ладный и крепко сбитый, что твой каратист. Он огляделся по сторонам и гнусаво забулькал. Да, певец из него был явно неважнецкий.

— Вот, развёл живность. Уже вовсю несутся…

Иван показал мне яичко, четверть от куриного.

— Давай под водочку яиченку изобразим?..

Я отказался. Яички были малы, мы бы уничтожили всю кладку.

— Послушай, Иван! А петушок у тебя трусоват.

— Это ты зря. Вот приезжай летом ко мне на дачу, увидишь, как он гоняет здоровенных петухов, охламонов. К своей курочке ни одного не подпустит.

— Что же он из ящика долго не выходил?..

— Я тоже сначала не мог понять, почему он мешкает. Нет, он не холода боится. Летом жара, но всё равно курочек выпинывает первыми.

— Никакой галантности.

— Ему не до тонкостей этикета. Он один, а курочек много. Петух должен беречь себя как продолжателя петушиного рода. Допустим, он выскочил бы из укрытия первым, а тут хорёк. И всё, хана петушку, другого в семье нет, все курочки остались бы вдовами. А так, допустим, погибла курочка, но останутся другие, и род продолжается. Ты приезжай летом, я тебе цыплят на развод дам…

Но я так и не приехал. Просто представляю себе иногда, как Иван работает за письменным столом, а вокруг него курочки прогуливаются под бдительным присмотром храброго петушка.

На овсах

Гена Шмаков, мастер спорта по пулевой стрельбе, долгое время работал охотником-промысловиком, и все зимы пропадал на своём промысловом участке, а в город заявлялся только ближе к лету — загорелый до черноты, и обязательно с каким-нибудь таёжным подарком. Один раз привёз штук шесть медвежат. Они у него с месяц жили в квартире, пока не перелапали и не порвали всё, что только можно. А тут приехал в город цирк, и Гена сдал всю свою медвежью ораву на воспитание, причём получил за них хорошие по тем временам деньги.

С Геной мы всегда находились в отличных отношениях по очень простой причине — он был неплохим поэтом, писал звонкие, точные и не банальные стихи; но он не давал им отлежаться и сразу же нёс в областную газету, где я в то лето подрабатывал консультантом, замещая заболевшего сотрудника. Я читал стихи Шмакова, и обязательно в них попадалась какая-нибудь недоработка, совсем ерундовая, которую мы тут же устраняли, и в ближайшее воскресенье стихи появились в номере.

Но это, так сказать, присказка, а сам рассказ я только начинаю. Один раз прилетает вечно спешащий Гена ко мне домой и требует, чтобы я немедленно собирался с ним на охоту на медведя в Седельниковский район. Перспектива ехать в комариный край за каким-то медведем, который мне ничего не сделал плохого, меня не воодушевила.

— Да ты пойми! — настаивал Шмаков. — Мне дали лицензию на отстрел, командировочные и выделили машину. Там в деревне медведь задрал корову. Закидал её травой и ветками. И сегодня ночью обязательно явится. Ну, поедем! Напишешь рассказ, как бился один на один с «хозяином». А шкуру я тебе отдам… Ну, поехали!..

Уговорил. Собрав вещички, я написал записку жене, и мы покатили в тайгу. А это, надо вам сказать, не ближний свет. Ехали- ехали, наконец, приехали в деревню, где вся ребятня сразу завопила:

— Охотники приехали!..

— Медведь, наверно, от этого ору удрал куда подальше, — сказал я Шмакову.

— Ерунда, дрыхнет где-нибудь в малиннике.

Председатель колхоза, учуяв во мне не охотничью, а штатскую личность, спросил Шмакова, почему я без оружия. А надо сказать, что от карабина я отказался категорически, убедив друга, что могу запросто, вместо медведя, подстрелить его

самого. Но карабин в машине был — запасной.

Тут подоспела телега с каким-то замшелым дедом, курившим ядрёный самосад. И мы поехали на место преступления медведя — убийцы дойной коровы, которая числилась на государственном балансе и погибла, можно сказать, на трудовом посту, набивая брюхо травой. Никакого законного суда над медведем не было. Может, он оступился и случайно придавил корову. Не подозревавший о скорой казни медведь, вполне возможно, пасся в малиннике, но он уже был приговорён, не мной с Геной, к высшей мере наказания. Вот такая житейская ситуация: хоть плачь, хоть смейся.

Спасения у медведя не было: я видел, как Шмаков стреляет, и превратись медведь в воробья, ему даже ночью не уйти от пули.

Возницу с телегой мы оставили километра за два до того места, где была прикопана зверем корова.

Шли молча, поторапливались, стараясь до темноты устроить себе схоронки на деревьях. Корова лежала в низочке, кое-как прикрытая ветками. Было жарко, и над тушей клубом клубились насекомые, в основном мухи.

— Так, ты лезь на берёзу, что чуть в сторонке, а я полезу на эту…

Залезли. Стемнело. Сидеть на ветке было жёстко, неудобно, меня клонило в сон, и я, устав бороться с комарами, привязал себя к дереву верёвкой и пытался не пропустить появление медведя.

Взошла огромная луна, и стало светло, как днём. Из леса доносились чьи-то тяжёлые вздохи, кто-то пробежал по опушке, ломая кусты, где-то рядом со мной поскрипывала какая-то птица.

Проснулся я от тихого голоса:

— Слезай, светло уже. Не придёт.

Я стал отвязываться от дерева, сбросил на землю телогрейку, на которой сидел, и вдруг услышал шум падения чего-то тяжёлого и истошный вопль. Я изо всех сил вцепился в берёзу. Наконец, повернул голову и увидел, что Шмаков с кем-то борется, яростно матерясь и размахивая карабином.

«Что же он не стреляет?» — мелькнуло у меня в голове.

— Да иди сюда, рохля! Не бойся! Ты посмотри, что эта тварь сделала!..

Между ног Шмаков топорщилось что-то небольшое и пернатое.

— Сова? И чего она бросилась? Сослепу, что ли?..

Но сова не только бросилась, но и вцепилась в икроножную мышцу Шмакова своей мощной лапой. Пришлось лапу отрубить, перевязать ногу и тащить его к телеге. Гену отправили в

райбольницу, а я уехал домой.

В следующую субботу сижу в газетном кабинетике, входит Гена Шмаков, чуть прихрамывает, для форса держит в руке тросточку. Сел, закурил.

— Привет, медвежатник!..

— Привет!.. Мне в охотсоюзе лицензию подкинули на лося. Для учёных из сельхозакадемии нужно отстрелять. Поехали!..

— Нет, хватит с меня медведя!

Я не поехал, а Шмаков через три дня пришёл ко мне со свежей лосятиной и своими новыми стихами. Вечер провели весело и бездумно: время тогда было ещё не властно над нами. И на нас лицензии ещё не были выписаны в небесной канцелярии.

Симбирский старожил

— Вы, Николенька, ведь не местный, — сказал художник Панин, к которому меня привёл живописец Лежнин, ставя на стол бутылку шампанского, фужеры и вазочку с шоколадными конфетами. — А я, так сказать, волжский раритет. Родился в восемьсот девяносто пятом году. А род мой идёт с основания Симбирска. Все мои предки, можно сказать, художниками были по дереву, сиречь краснодеревщиками. Вот этот комод сделал мой дед в начале прошлого века. Наверно, и я пошёл бы по этой части, да моему отцу вздумалось отдать меня в гимназию.

— Это где Ленин учился?

— Он старше меня на четверть века, когда я учился, о нём никто уже не помнил. Но я о другом — о городе. Ему, я думаю, с самого начала было уготовано прозябание. И знаете почему? Другие города на торговле поднялись, они близко к Волге стоят. А у нас попробуй завезти товар на гору — трудно, а значит дорого. С другой стороны наш город был дворянским гнездом. Гончарова, конечно, читали? А из Обломова, какой купец? Здесь и сейчас мало кто поспешает… Да вы угощайтесь, угощайтесь…

— В последнее время Ульяновск на слуху, — сказал я, поднимая фужер. — Столетие Ленина и всё такое. Но меня не это сюда привело, я всегда хотел жить на Волге.

— Где тут Волга? — вспыхнул Панин. — Громадный и гнилой водоём! Вот в моё время это была действительно река. Ледоход на ней грохотал, как канонада. Мы, ребятня, да и взрослые, все на Венце, а какие были острова! Вот Чувич. Сейчас спроси, и никто не знает, что это такое. Это был громаднейший остров с заливными лугами, рыбными угодьями. Всё пошло прахом.

— Пётр Григорьевич, — спросил Лежнин. — А много изменилось в первой школе с тех пор, как ты учился?

— Знаешь, Ваня, я не был примерным учеником, поэтому о гимназии сохранил не самые весёлые воспоминания. Горазд был шаржи рисовать. Законоучитель у нас был толстопузый, вот я и нарисовал его с двумя арбузами в руках, а третий под рясой. Конечно, выпороли, как сидорову козу. Сейчас в старости с горечью вспоминаю, что моё поколение было сплошь безбожным. А ведь город-то наш богомольный! Вот здесь, — Панин показал в окно. — Троицкий собор стоял, другого такого по красоте, пожалуй, во всей русской провинции не было! Где новая школа имени Ленина, там был Спасский женский монастырь. А где дом художников, ближе к улице Ленина, ещё один собор был. Всё снесли. Да, Ваня, ты спросил, бываю ли я в своей альма-матер,

гимназии, но как я туда пойду, когда там управление НКВД было, а в подвале расстреливали?

— А как вообще жилось в эти годы? — спросил Лежнин, которого тема репрессий всегда болезненно интересовала.

— Ты, Ваня, хочешь спросить, страшно ли мне было? Конечно, страшно. Сегодня одного взяли, завтра другого. Но из художников местных, вроде, никто не пострадал. Директора краеведческого музея расстреляли, порядочный был человек. Но жили, жили, как всегда жили, живут и будут жить русские люди — надеждой на лучшее. Мне ведь легче, чем другим было, чуть загрущу, возьму мольбертик — и на Волгу. А там, у воды, всё проходит, всё смывается. Мы живём, любим, страдаем, надеемся, подличаем и геройствуем, а Волге нет до этого никакого дела. Течёт, как время, и всё уносит. В старости былое вспоминается без гнева.

— Пётр Григорьевич помнит, как мост строили через Волгу, — сказал Лежнин.

— Как же, хорошо помню, — оживился Панин. — Мне в ту пору уже чуть больше двадцати лет было. Публика каждый день на Венце толпилась, наблюдая за строительством, особенно, когда оползнем расшибло насыпь, на которой уже лежали рельсы. Начальником строительства был инженер Белелюбский, этакий вальяжный господин, богач и театрал. К нам он прибыл со своей пассией, артисткой Серебряковой. Дом для неё снял, репертуар, конечно, под неё составили. Она, надо сказать, пикантно задирала ножки в водевилях. Белелюбский на неё тратил бешеные суммы, покупал драгоценности, меха, рысаков, а тут в их отношениях случилась катастрофа, почище оползня: сбежала Серебрякова с поручиком, хваткий был молодец. Я с ним в запасном полку служил, перед тем, как на германский фронт попасть.

— Интереснейший человек! — сказал Лежнин, когда мы вышли на улицу. — Последний из интеллигентов старого, ещё дореволюционного, закваса. Выжил при царе, в революцию, в тридцатые годы, я поражаюсь его жизнелюбию. Мы уже не такие.

— Зря ты, Иван Васильевич, так говоришь, у вашего поколения была война и Победа, а это многого стоит.

— Это так, но всё равно мы слабее, а про нынешнее поколение и говорить нечего.

На углу улицы Ленина, возле дома, где родился великий русский писатель Гончаров, мы не расстались, а пошли в рюмочную и остограммились армянским коньяком.

Куросава

Никто в посёлке не знал, откуда взялся этот странный старик. Был он вроде китаец, и все его звали Куросава. Жил Куросава на отшибе в ветхом насыпанном пятистенке под толевой крышей, а работал в подсобном хозяйстве завода свинарём, поэтому от него всегда за несколько шагов несло всеми запахами свинарника, которые насквозь пропитали его засаленную до маслянистого блеска телогрейку.

Был он стар, по-русски говорил медленно, но правильно, тщательно взвешивая на кончике языка каждое слово. И конечно, не матерился. Но ещё больше удивлял он тем, что иногда принаряжался в чёрную тройку и брал в руки бамбуковую тросточку. В таком виде он торжественно шествовал по главной улице и раскланивался, здоровался с каждым встречным. Обойдя весь посёлок, он опять надолго исчезал в своём свинарнике, откуда появлялся на люди только в банные дни.

Что-что, а попариться Куросава любил! К этому делу у него был свой подход. Он не спешил до изнеможения нахлестаться веником, а долго лежал на полке, и обмахивался им, будто веером, словом, всё делал на свой китайский манер. Мужики, ясное дело, хохотали, но жароустойчивость Куросавы им нравилась.

— Ещё, что ли, поддать, Куросава?

— Подай, подай…

И поддавали, но Куросава будто не чувствовал почти стоградусной жары, всё так же лениво обмахивался веником и необидно щерился беззубым ртом. Мужики с воем выскакивали из парилки, а Куросава ещё долго лежал на раскалённой полке.

Моё знакомство с Куросавой началось в бане. Не знаю почему, но старик выделил меня среди других, и мне приходилось иногда скрести жёсткой мочалкой его спину и бока, которые были похожи на согнутую стиральную доску.

— Стар стал, — вздыхал Куросава, — совсем стар. Руки не гнутся. Спасибо тебе. Всё уходит, всё. а вперёд всего молодость. Но я не завидую тебе. У меня есть то, что сильнее твоей молодости. Ты мне веришь?

— Не знаю, — обычно отвечал я.

— Почему не знаешь? — ворчал Куросава. — Знать надо, пока молодой, всё знать надо.

Я думал, что старик болтает о какой-нибудь травке, вроде женьшеня, но все оказалось не так.

Мы сидели на полке в парной. Беззадый Куросава,

поскрипывая ревматическими суставами, ритмически похлопывал свою грудь общипанным веником.

— Почему не знаешь?.. — прохрипел Куросава. — Есть средство, которое старика заставляет волноваться, как молодого. Но мне ничего не надо.

Куросава будто в трансе начал подёргивать сухоньким телом и закрыл глаза.

— Я решил! Я отдам тебе всё! Мне ничего не надо…

— Пошли, старик, — сказал я ему и потянул за руку. — Пошли, ты совсем запарился.

Куросава пробормотал что-то непонятное и ногами вперёд начал слезать с полки. Было видно, что ему плохо, глаза налились кровью, руки и ноги било мелкой дрожью.

В прохладном и пустом предбаннике с заледеневшим окном поднимался плотный белый пар. Куросава закутал свою синеватую старческую плоть в застиранное полотенце и начал частым гребешком расчёсывать седую конфуцианскую бородку.

Отдышавшись, старик посмотрел на меня:

— Идём ко мне.

Я согласился.

Куросава натянул на себя неизменную телогрейку, завязал ушанку под подбородком, аккуратно завернул остатки берёзового веника в газету, и мы пошли.

Выбежавшая из окружения других строений, изба Куросавы издали была похожа на сломанный спичечный коробок: углы её от времени глубоко ушли в землю, окна до половины засыпаны снегом, закопчённая печная труба обвалилась.

Ворота открывались тяжело, с надсадным скрипом заржавленных петель. Мы прошли небольшой двор, заваленный снегом, вошли в полусгнившие сени. Я посмотрел на входную дверь и чуть не расхохотался: на ней висело четыре амбарных замка, хотя сама она была сделана из досок-двадцаток.

Куросава достал связку ключей и открыл замки один за другим. Мы вошли в дом.

— Садись, — сказал Куросава. — Я сейчас что-нибудь сделаю.

Я присел на колченогую табуретку. Куросава ушёл за перегородку, где тотчас начал греметь кастрюлями, а я стал оглядывать его жилище.

Одинокие старики чаще всего живут неопрятно, но Куросавина комната, к моему удивлению, оказалась довольно чистой. На окошке висела белая занавеска. В углу вместо кровати стоял какой-то лежак, вроде топчана, застеленный разноцветным одеялом, которое было сшито из квадратных и треугольных тряпичных лоскутков. В углу стоял добротный окованный

железом сундук.

— Такэ, такэ, — проворчал за перегородкой Куросава.

Я повернулся и увидел, что на меня изучающее смотрит лупоглазая и пузатая собачонка.

— Это Такэ, — сказал Куросава, войдя в комнату. — Он очень старый.

Такэ слабо вильнул хвостом и пошёл в угол, шаркая по полу обвислым брюхом.

Куросава поставил на столешницу стаканы, бутылку водки и тарелку с нарезанным салом.

Мы выпили. Глаза Куросавы зажглись, он тяжёлым пронзительным взглядом посмотрел на меня и зашептал, захлёбываясь слюной:

— Мне ничего не надо. Я тебе всё отдам… Здесь! — Куросава выплюнул последнее слово. — Здесь! Золото!..

Мне стало очень неуютно. Старик был явно не в себе.

— Они долго не хотели выпускать золото, — сипел Куросава, схватив меня за рукав. — Но им без этого нельзя. Без золота им не прожить!

Он соскочил с табуретки, открыл сундук, порылся в нём и высыпал передо мной пригоршню медных солдатских пуговиц.

— Это золото! — шептал Куросава. — Твоё золото!..

Я схватил сумасшедшего старика за плечи и повалил на топчан.

— Нет, Куросава, ты ошибся. Это не золото.

Припадок прошёл быстро, и Куросава уснул тяжёлым сном.

Я потушил свет, и во тьме огненными точками вспыхнули глаза Такэ. Он жалобно скулил.

— Бедный пес, — подумал я, забыв о человеке.

Встреча с хозяином

Трое мужиков, среди них и автор этих строк, ехали с удачной рыбалки. То есть и рыбы поймали, и уха была знатная, и водочка в ухе и около неё. Надо вам сказать, что всё это происходило в Сибири, лет этак тридцать назад.

От города мы забрались далеко, в места глухие, непуганые. Вокруг едва заметного в зарослях папоротника просёлка стоял дремучий, пропитанный влагой и болотной тиной ельник, в окна «уазика» тучей толклась мошка, низко над землёй летели белые, как айсберги, облака.

Я сидел рядом с водителем и всё, что случилось в дальнейшем, видел с достоверностью на все сто процентов, причём прошу учесть, что я не рыбак и не охотник. Это те любят призагнуть для красного словца, я просто так случайно попал на рыбалку, поэтому привирать мне нет никакого резону.

Итак, свидетельствую. Изредка поглядывая вперёд, я заметил бурую кочку. Заметил её, видимо, и водитель, но, как и я, не придал ей большого значения, благо, что объехать её можно было легко, место позволяло. Ехали мы довольно шустро, километров под сорок. И вдруг кочка превратилась в поднявшегося на дыбы медведя, в которого мы и врезались на полном ходу. Не рискую описывать чувства, которые охватили меня в тот момент. Я видел только, что медведь кубарем отлетел на несколько метров вперёд и растянулся без движения на земле, подмяв под себя папоротники.

На какое-то время мы онемели. Наконец второй приятель, который дремал позади нас на подвесной койке «санитарки», недовольно промычал:

— На пень налетели, что ли?

— Подними голову да глянь, — ответил опамятовшийся прежде меня шофёр. — Медведь, леший бы его побрал…

— Да ну?

Осторожно мы вышли из машины и, крадучись, готовые рвануть назад, стали пробираться к жертве дорожнотранспортного происшествия.

Это был пестун, годовалый медведь, не привыкший иметь дело с людьми. Он лежал ничком, вытянув лапы вперёд. Я впервые видел не циркового, а настоящего лесного хозяина. Те были гладкие, ухоженные, а этот, со свалявшейся шерстью, грязный, мало походил на сказочный персонаж. И всем нам стало его жалко.

— Ты что не мог потихоньку проехать? — с горечью сказал

приятель шофёру.

Тот вздохнул, пожал плечами и отвернулся.

— Что делать-то?

После недолгого совещания решили погрузить медведя в машину, отвезти к леснику, где была наша основная база, а там как он присоветует.

Шофёр подогнал задом к медведю «санитарку».

— Ну что, взяли?

И мы стали переворачивать медведя на спину. Сначала мне почудилось, что где-то далеко идёт поезд, потом звук стал резко нарастать, медведь дёрнул головой, поджал лапы под себя и заревел.

Если вас когда-то било электротоком, то вы меня поймёте: меня буквально пришпилило к земле то, что называется ужасом.

В следующее мгновенье медведь начал подниматься, а мы… В каком-то неимоверном броске, одним рывком мы влетели в кузов, и началась гонка.

Медведь гнался за нами со всё убыстряющейся скоростью, дверцы «санитарки» мотались по сторонам, в какой-то момент он почти схватил одну из них. Наконец приятелю пришла в голову спасительная мысль: он схватил ведро и бросил его в медведя. Тот поймал его и начал мять и рвать. А мы были уже далеко.

Рыжая племянница Суслова

— Я ведь этот день до самых мелких подробностей помню, — рассказывал Пётр Васильевич. — Мой начальник, Виктор Алексеевич, уехал в Москву на совещание, а я занимался в гараже ремонтом. У машины в тот день генератор барахлил, я прочистил щётки, поставил, всё чин-чинарём! Даёт зарядку, работает, как часы. А время уже четыре дня. Поехал домой пообедать, и тут возле базара подметил эту Рыжую, уж лучше бы туберкулёз подцепил, чем её.

Села она рядом со мной и сразу чирикать: «Машина у вас старая, а в каком порядке содержится!» Бабье ли это дело, машина? Я для смеху вправил ей чуток мозги, что шоферить, это не на базаре семечки продавать. А она говорит: «Я семечками не торгую, сейчас ковёр продала, достала для одной знакомой. Могу и вам устроить». А на кой мне ковры?.. Едем дальше, болтаем, а она мне опять заправляет: мол, дублёнку могу достать по сходной цене для жены. Я, понятное дело, дал отлуп. Зачем мне дублёнка? Опять разговариваем. Я вообще любопытный, и бабёнка разговорчивая. Говорит, дача у неё за городом, да мужик пьяница, а я, сам знаешь, в рот ни капли не беру. Неплохо бы, говорит, купить машину с каким-нибудь солидным человеком на паях. Пока ребятишки у меня маленькие, он бы в сад отвозил, а там бы и деньги постепенно вернул, и машина ему осталась.

Тут бы мне осечься, а я, дурак, спрашиваю, много ли у неё денег? Тыщи две, говорит, наберу, четыре бы кто добавил, а «уазик» в экспортном варианте я бы пробила. Болтает она, а я думаю: врёт, не врёт… А, чем чёрт не шутит, спрашиваю: как достанет машину? А эта Рыжая сходу лепит: «А мне Суслов дядей приходится, через него я и достану». Тут я чуть от смеха не лопнул. Суслов её дядя, да он с самым-самым на фотографиях под ручку, орден ему вручает, а тут эта кикимора! А она спокойно так и говорит: «А вы в Шаховском бывали, ведь Суслов оттуда родом». Говорю: «Бывал». «А мой папа и сейчас там живёт». Слово за слово, дал-таки я ей свой адрес, чтобы она принесла мне доказательства родства, и не понимал, что зацепила она меня за губу своим крючком…

Рассказывая свою историю, Пётр Васильевич придерживался собственной, отработанной долгими бессонными ночами, версии, которая должна была выставить его в глазах общественности как жертву коварной рыжей проходимки. Естественно, что неприглядные для себя детали он сгладил, некоторые куски просто-напросто выкинул, и нам придётся заполнять эти пробелы

в интересах объективности. Поэтому скажем прямо: никаким ремонтом в тот злополучный день он не занимался, а сказал своему шефу, что у него болят зубы, и целый день шабашничал. Поехал передохнуть домой, тут-то по пути и зацепила его Рыжая. Села она в машину без всякой задней мысли, но так как была аферисткой по призванию, то сразу раскусила, что шофёр — выжига и кулачок, а таких она дурила с особым удовольствием и сладострастием, потому что в ней просыпался азарт игрока, ставящего по-крупному. Ведь мало удовольствия объегорить какого-нибудь простофилю, а Пётр Васильевич показался ей заманчивой и перспективной фигурой, от которого можно получить не только деньги, но и удовольствие, глядя, как он с умным и всезнающим видом лезет в западню.

— Я и думать о ней забыл, а она является как-то около девяти вечера с девчонкой. В сумке кусок торта. Тары-бары, сели чай пить. Моя гусыня рот разинула, на неё смотрит. А та так и сыпет! Тому ковёр достала, тому шубу, тому квартиру. Зашёл разговор о машине. «Вы не думайте, — говорит, — Пётр Васильевич, я людям от доброго сердца помогаю, если и беру, то самую малость. Вот и вам могу полотенца махровые предложить. Добавляйте сверху рубль, и они ваши». Моя, конечно, в эти полотенца вцепилась. А я говорю:

— Ну, а доказательства, что он твой дядя, где?..

Открыла Рыжая сумку, достаёт фотографию. Трое стариков в белых рубахах в обнимку. Слева Суслов, справа наш первый, Скочилов, царство ему небесное, а посредине старик. «Вот этот, посерёдке, мой отец. Сфотографировались три года назад, когда сюда Суслов приезжал. А вы мне не верили».

Ушла она, а мы со своей задумались. Не врёт, наверно. Однако, кто знает? Может, аферистка?.. Подумали и решили не торопиться, повстречаться с отцом, деньги в руки ей не давать…

Этот эпизод Пётр Васильевич излагал с максимальной достоверностью. Действительно, Рыжая побывала у него дома и выяснила главное: жена у её партнера оказалась робкой и забитой женщиной, а это была удача, потому что обычно женщины нутром чувствуют опасность дому.

Объяснения требует появление фотографии. Сам Пётр Васильевич так и не узнал, откуда она появилась, потому что на суде этот факт тщательно обошли. А между тем фотография была козырной картой Рыжей, и с её помощью она облапошила не один десяток своих жертв.

Суслов действительно приезжал в область и побывал в родных местах. Село за семьдесят лет, с тех пор как он там родился, изменилось до неузнаваемости. Наши руководители,

чтобы подфартить Суслову, построили там Дом культуры, всякие общественные здания, а посреди площади поставили его бюст, отлитый в бронзе и с двумя звёздами Героя.

В селе знаменитость встречали со всей широтой. После речей и прочего словесного шума Суслов пошёл прогуляться по селу, дабы определить, где стоял дом, в котором он родился и провёл детство. И тут-то он попал в хорошо организованную засаду. Из ворот одного дома на улицу выбежал старик и бросился Суслову на шею.

— Миша! — закричал он, размазывая рукавом рубахи мокроту на лице. — Помнишь, как мы в лапту играли! Вот здесь, на поляне!

Не давая опомниться ни Михаилу Андреевичу, ни нашему Бабаю, старик обнял их. И тут произошло не предусмотренное регламентом пребывания высокого гостя событие. Совершенно незаметно для них этот живописный эпизод встречи сфотографировал брат Рыжей, который стоял в доме возле открытого настежь окна.

Снимок вышел отменный. Он был размножен в необходимом количестве копий, которые извлекались отцом Рыжей на свет, когда можно было извлечь из этого выгоду. Но в основном фотографии предназначались для дочери, которая, отсидев за мошенничество, отдыхала у родителей и разрабатывала планы дальнейших махинаций.

— Прошло ещё недели две-три, — рассказывает Пётр Васильевич, — приглашает меня Рыжая к себе домой, говорит, что папа приехал. Прихожу. Квартира ободранная, обои по ветру развеваются. А мебели — одна железная кровать, стол кухонный и стул. И сидит на нём еёный папа. Мужик мне серьёзным показался. Спрашиваю прямо, мол, правда, что Суслов его брат. «Да», — отвечает папа. А почему, — спрашиваю, — вы сами машину не купили? — «А, зачем? У меня есть тяжёлый мотоцикл на пасеку ездить. А если куда в город, так у предрика потребую. Он меня как огня боится. Как стукну кулаком — отдай печать! Сразу шёлковым становится. Боится, что я Мишке звякну…»

Стал я с Рыжей обсуждать, как провернуть получение машины. А старик на неё попер: мол, опять дяде надоедать будешь, сколько можно государственного человека по пустякам беспокоить? И ушёл. А Рыжая говорит, что надо в Москву ехать, в Минавтопром, взять наряд на получение машины. На меня будто холодком дохнуло. Нет, думаю, я не так прост. А она, мол, вы тоже со мной, Пётр Васильевич, я люблю, чтобы всё было по-честному, а то вы, может быть, мне не доверяете, так, пожалуйста. На той неделе и поедем. Я билеты сама куплю, в поезде

рассчитаетесь.

События, как видим, набрали обороты. Обмозговывая ситуацию, Пётр Васильевич рассудил, что деваться Рыжей, если она хочет обмануть, некуда. Он знал её квартиру, отца и где он живёт, так что вздумай она над ним подшутить, он бы свистнул бравых милиционеров и те бы мигом восстановили справедливость.

— Поехали мы чин-чинарём. Я, дурак старый, костюм выходной надел, штиблеты начистил. Сели, значит, в поезд, едем.

Утром только встали, умылись и вот она — Москва. А я в ней толком ни разу за жизнь свою не был, только на вокзалах, от поезда до поезда. Народу тьма, того и гляди с ног собьют. А Рыжая в этой толкучке, как рыба в воде. Схватила меня под руку и потащила в метро. Вынырнули мы из него через полчаса, кругом дома высокие, аж шапка с головы падает. Она мне сразу: «Пойдём в министерство, вот только по телефону позвоню». Зашла в телефон-автомат, позвонила. А я стою рядом, четыре тысячи в кармане, сердцем их чувствую.

Подошли к министерству, я вывеску прочитал, а Рыжая мимо проходит. Я говорю, постой, вот ведь оно. А она отвечает, это не министерство, а парадный вход, где только иностранцев пускают, да всяких дурней, которые приезжают сюда требовать положенное им по закону. А для деловых людей и тех, кто здесь работает, вход с угла. Вошли мы туда, кругом строгость, тишина как в больнице. Поднялись в лифте, не помню, на какой этаж, прошли по коридору. Рыжая смело открывает кожаную дверь в какой-то кабинет и входит туда. Приёмная, по бокам две тяжеленные двери с табличками. За столом в приёмной сидит мужик. Поднимается он нам навстречу и говорит «здрасте» Рыжей, по имени-отчеству её назвал: мол, ваш вопрос решён положительно, документы у шефа на подписи, сейчас принесу, и ныряет в дверь. Минут через пять выходит с папкой. Вот, говорит, пожалуйста. Все ваши просьбы учтены. Я вклинился, говорю, мол, обязательно в экспортном варианте. Рыжая подаёт мне бумагу. Читаю. Бланк, как положено, фирменный. Директору завода, председателю облисполкома, выделить гражданину такому-то в счёт таких-то фондов машину в экспортном варианте. Пока я читал, Рыжая ещё из папки штук десять бумаг выгребла. Распрощались мы и ушли…

Идём по улице. «Как платить?» — спрашиваю я. — «А вы что, деньги с собой везёте? Это неосмотрительно. Деньги нужно хранить в сберегательной кассе. Пока они мне не нужны. Приедем в город, там и отдадите. Вы мужчина, у вас они будут целей. А скажите, вы ведь так и думали, что я хотела вас обмануть, а?»

Покраснел я, отвернулся.

Из рассказа Петра Васильевича вырисовывалась нереальная ситуация: Рыжая водит за собой человека, которого хочет обмануть, и, притом, показывает ему сообщника. На её месте любой другой мошенник стремился бы к конечной цели — овладению деньгами кратчайшим путем, но это только на первый взгляд так кажется.

— Была у меня возможность одуматься, так нет, в петлю сам полез. Приехал из Москвы, договорились мы, что она приедет ко мне домой. А её нет и нет. Плюнуть бы на это дело!.. А я уже всё — спёкся: ночью машина мне снится, днём прикидываю, где гараж поставить, по улице еду, как увижу «уазик» в экспортном варианте, так сердце подпрыгивает.

Короче, не выдержал и поехал к ней. А она говорит, мол, раздумываю, Пётр Васильевич, извините за честность, тому ли я человеку доверилась. Машину-то на ваше имя надо оформлять, а вдруг обманете, в сад возить не будете, да и денег не вернёте. Хоть и деньги небольшие — две тысячи, а для меня и это состояние. Ты что, ей говорю, я расписку напишу и возить в сад буду… Словом, едва её уломал. Отдал ей деньги, даже легче на душе стало. Ну, думаю, теперь ты от меня никуда не уйдёшь.

Конечно, Пётр Васильевич привирал, когда говорил, что собирается возить Рыжую на дачу. Свозил бы несколько раз, а потом. Мало ли отговорок. Деньги он, конечно, бы отдал. У него они были. Рыжая не добралась до дня его кошёлька, там ещё кое-что шевелилось.

С потерпевшим всё ясно. А Рыжая? На что рассчитывала мошенница, беря направо и налево у людей деньги, которые она не собиралась возвращать? На суде всплывает сумма до ста тысяч рублей — это следовало из исковых заявлений тех, кто предъявил претензии. Всего же набрала она за триста тысяч, многие не обратились в суд, чтобы не привлекать к себе внимание. Эта реальная сумма объясняет всё. Тюрьма Рыжую не пугала, она там уже побывала. Статья, по которой она шла, была открыта для всяких помилований, скошений срока, а это не пустяк в таком деле.

За триста тысяч рублей суд определил ей шесть лет лишения свободы, итого за каждые пятьдесят тысяч один год колонии. Пустяк?.. В представлении Рыжей, конечно, пустяк. Ещё бы, она обеспечила себе зарплату за каждый месяц отсидки более четырёх тысяч. Поэтому, главной задачей мошенницы было не скрыться от правосудия, а набрать как можно больше денег, облапошить как можно большее число простофиль.

Денег у Рыжей при обыске не нашли, мебели в доме почти никакой не было, конфисковывать нечего, на следствии она

разыграла из себя слабую беззащитную женщину и только на суде в последнем слове показала зубы. Это была не речь, а филиппика против потерпевших, среди которых были завмаг, возмечтавший о «Волге», зав. складом утильсырья, задумавший купить квартиру в Москве, продавщица пивного ларька, возжелавшая получить японский видеомагнитофон, и прочая околоторговая публика. Пётр Васильевич в этой компании выглядел сиротой и пытался вякать, что он рабочий человек, однако Рыжая развенчала его сходу, сказав, что он шабашник, да ещё и пытался её соблазнить. Пётр Васильевич показал мне один перевод, который пришёл ему из колонии, на семьдесят восемь копеек. Можно себе представить, сколько веков Рыжей надо было работать, чтобы выплатить все взятые деньги.

Посадили Рыжую, но через восемь месяцев выпустили: Международный год женщины, амнистия, а у неё двое детей. Она приехала в город, устроилась уборщицей или наняла кого-то за себя, живёт себе — в ус не дует. Пьянки, гулянки… Потерпевшие всё это безобразие видят, жалобы пишут, заявления, да что толку? Им аккуратно отвечают, что гражданка закон не нарушает. А их несчастье сплотило, можно сказать, первый в нашем городе клуб по интересам самоорганизовался из тех, кого Рыжая объегорила. Следя за ней, встречаются, обсуждают, куда ещё писать-жаловаться. Ведут в общем содержательную насыщенную событиями жизнь.

Вместо эпилога

Унылый город.
Тени тополей,
Как привиденья, мечутся во мраке.
Я буду помнить, до скончанья дней,
Как лают на людей твои собаки.

Я буду помнить Волгу и Венец,
Где сердце от простора встрепетало.
В глазах твоих правителей свинец,
И белый саркофаг Мемориала.

Иду под сенью гончаровских лип
И глубоко вздыхаю всею грудью.
И как я не свихнулся, не погиб
В твоём угрюмо-каменном безлюдье!

Но, слава Богу, не погас огонь,
Хотя судьба сгорела, словно порох.
Жизнь пролетела в топоте погонь,
Пустых страстях, никчемных разговорах.

Унылый город.
Невесёлый путь.
Как злобно лают мне вослед собаки.
В глазах роятся нечисти и страхи,
Которые меня переживут.

© Полотнянко Николай Алексеевич, 2016

Полотнянко
Николай Алексеевич.

Родился 30 мая 1943 года
на станции Тальменка Алтайского края,
русский поэт, прозаик, драматург и публицист.
Окончил Литературный институт
им. А.М. Горького СП СССР.
С 1973 г. живет в Ульяновске.
Автор 9 книг стихотворений,
5 исторических и 3 современных романов,
2 комедий, 5 повестей и рассказов.
Лауреат Всероссийской литературной
премии им. И.А. Гончарова (2008).
Награжден медалью им. Н.М. Карамзина (2011)
и орденом Достоевского 1-й степени (2014).
Лауреат премии им. Н. Благова (2015).
Главный редактор журнала
«Литературный Ульяновск».
Председатель Союза русских писателей, Ульяновск.
Член Союза писателей России.

Николай Полотнянко БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

Николай Полотнянко

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ